

РОМАН СЕНЧИН

НАШ ПОСЛЕДНИЙ
ЭШЕЛОН

От лауреата Премии
Правительства РФ
и финалиста премии
«Золотой Дельвиг»!



Современный разночинец

Роман Сенчин

Наш последний эшелон

«Автор»

2013

Сенчин Р. В.

Наш последний эшелон / Р. В. Сенчин — «Автор»,
2013 — (Современный разночинец)

ISBN 978-5-699-68318-5

Есть на свете такая особенная порода людей – вдохновенные оборванцы. У них никогда нет ни копейки за душой, за то всюду они – душа компании. В прошлом каждого из них – череда покинутых жен, детей, домов и профессий, а в будущем – гарантированная бедность и тихие помешательства. Донкихоты нашего времени – писатели, художники, музыканты – идут по жизни под знаменем нестяжательства и искусства, с робкой надеждой на бессмертие...

ISBN 978-5-699-68318-5

© Сенчин Р. В., 2013

© Автор, 2013

Содержание

Часть 1	6
Общий день	6
Оборванный календарь	19
Володька	31
Там, где светится ночью окно	34
Действие первое	34
Действие второе	52
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Роман Сенчин

Наш последний эшелон (сборник)

Первая авторская серия прозы Романа Сенчина «Современный разночинец» – это попытка представить известного автора и общественного деятеля в ярком концептуальном ключе. Прославившись на всю Россию и часть Европы романом «Елтышевы» – о суровой действительности современной деревни, – Сенчин часто воспринимается исключительно как певец русской провинции, а между тем его перу принадлежит целая галерея современных образов, главным из которых стал образ современного разночинца. Кто таков этот разночинец? Человек, который сделал себя сам, – презрев сословные ограничения, не поддаваясь мнению большинства, нарушая рамки банального. Он – обыкновенный человек с необыкновенной волей к жизни, которой может позавидовать даже Робинзон Крузо!

Часть 1

Общий день

Алена вспоминает обо мне раз в два-три года и просит провести с нею день. Ей, наверное, становится слишком хреново, и она набирает номер моего телефона. Мы учились в одном классе все десять лет, когда-то полудетски дружили, я носил ее сумку, пробовали целоваться, и туман этой близости не дает нам окончательно забыть друг о друге и теперь, когда у нас совсем разные жизни. Да нет, какие они разные... Цепь одинаково мертвых дней. И, чтобы почувствовать, что время идет, мы встречаемся и один день проводим вместе.

Это любопытно, когда девушку видишь изредка – ты ее знаешь и помнишь с семи лет, – и постепенно она превращается в старуху. Нет, даже не постепенно, когда встречаешься с ней раз в два года, а скачками. Бах! – вот она еще чуть свежая, пытается следить за собой, нравиться, она бодрится; бах! – и вот ее словно пришибли; бах! – это никому не нужная развалина, одутловатая, обвисшая, с опаленными спичкой усишками. Еще через несколько подобных столкновений она действительно будет старухой.

Да, в восьмом классе я оказался для нее слишком юным, я не был готов удовлетворять появившиеся у нее потребности, и она меня оставила. Она стала дружить с парнем из десятого класса, а потом, после аборта, ее имели все, кто прикладывал мало-мальские усилия. Она что-то искала в каждом парне, но не находила, а может, и находила, но им было на это плевать. Одни уходили, появлялись другие. Я же ее никогда по-настоящему не хотел; когда мне исполнилось шестнадцать, у меня появились четырнадцатилетние, которые тоже что-то искали. А с Аленой мы общаемся теперь как два старых школьных товарища; спокойно, с грустинкой. Нам, вообще-то, не очень-то много лет, но кажется, что слишком много – слишком долго и однообразно все это тянется.

Говорят, полезно время от времени путешествовать, менять квартиры, это разбавляет жизнь, освобождает от хлама и пыли. Я же всегда помню двухкомнатную нору, сырую, прогнившую, в доме, спрятанном от улицы трущобными джунглями. Чтобы выбраться на нашу Четырнадцатую линию, нужно пять минут скорым шагом идти через арки и заваленные помойками дворики. На кухне у нас стоит ванна, а потолки черные, потому что никому никогда не приходило в голову, как можно их побелить, да их просто никто не замечает; они такие высокие, что шнур от лампочки наверняка больше моего роста.

Когда-то здесь было достаточно много людей. У нас была большая семья. Я помню дедушку, он лежал парализованный в моей нынешней комнате и потом умер. Здесь же жила и бабка, она дожилась до восьмидесяти с чем-то лет; она была сухая и маленькая и страшно злая. Она никогда ничего не говорила, не готовила обедов и не стряпала сладких булочек. Она в основном сидела в кресле и смотрела телевизор, хотя была глухая и почти слепая. В большом длинном коридоре жил их сын, мой дядя, дядя Витя, алкаш-одиночка, который тоже умер – уснул и не проснулся. У него под кроватью было место для овчарки Эльзы; ее никто не выгуливал, и она гадила у входной двери. Однажды ее все-таки выпустили. Она не вернулась... Мы с мамой жили в другой комнате, а папы у меня не было.

Мама меня родила почти старой, и сейчас она становится похожей на бабку. Она сохнет, уменьшается в росте, слепнет, молчит. По обкурке мне нравится ее злить, и нужно достаточно долго поливать ее обидными словами, чтобы она наконец затряслась и дрожащим голосом принялась называть меня скотиной, вырождением, сучьим отродьем, гадиной, паразитом. И тогда я смеюсь, ухожу к себе и ложусь спать. Я доволен, что в очередной раз отомстил ей за все, что здесь увидел.

А что я увидел? Да ровным счетом ничего действительно интересного и приятного. Я помню школу, этот храм деградации, скопище растущих подонков, где меня долго учили быть тупым и непослушным на сеансах по сорок пять минут, а в промежутках десять минут вышибали остатки мозгов в рекреациях и туалете. Естественно, пришлось стать таким же. Когда я научился, то бывал очень рад, попадая сопляку в переносицу так, что кровь брызгала сразу из обеих ноздрей. А потом меня взяли в армию и тоже учили, всего год, но очень успешно. На втором году я вовсю применил свои знания.

В двадцать лет я снова оказался в этой квартире, уже опустевшей, и вот потихоньку живу, ничего не соображая и не желая. Нет, желаю, конечно, – денег, а уж они дадут все остальное. Несколько раз я пытался работать, но сами подумайте: ведь это же каждый день! Просыпаясь, жрешь – и вперед. То же самое и со всякими училищами, курсами, стажировками. Мать меня кормит, но не более того: им же всем дают ровно столько, чтобы не сдохли с голоду. Даже проездной на метро я могу занять не всегда. Если мне нужно куда-то поехать, приходится отбирать башли у матери. Она зажимает сумочку, которую я помню с раннего детства, с ней она, наверное, бегала по мужикам, но никто не взял ее. Как я-то получил, от какого уксуса, черт его знает. Она зажимает сумочку, визжит и испускает старушечьи запахи. «Ну дай мне денег! – ору я. – За удовольствие иметь ублюдка надо платить!» Я еще ни разу не ударил ее, но, думаю, скоро это случится. Я ненавижу ее, ее старость, и всю ее вонючую жизнёнку, и эту квартиру, где все сгнило и из щелей ползет желто-белый, как засохшая пена, все пожирающий грибок... Она визжит, отбивается, и я знаю, что она тоже ненавидит меня. Она, может, когда-то меня любила, у нее на стене висят фотографии, где мне годика два и чуть больше: я на качелях, я с автоматиком, я на новогоднем утреннике в детском саду... Победив, я убегаю. Я болтаюсь по своей Четырнадцатой линии, не решаясь выйти на проспекты; когда есть трава, сажусь на скамейку и курю, а когда нет – просто брожу туда-сюда по тротуару, раздумывая, что делать дальше. Вот классно, если удастся отвернуть тысяч двадцать-тридцать. С ними можно завалиться в клуб и торчать там до утра, слушать группы, потанцевать.

У меня что-то нет ни друзей, ни девчонки, но те, кто угостит ста граммами водки или не против легко перепихнуться, находятся почти всегда.

* * *

Алену потянуло теперь к духовной пище. В прошлый раз она таскала меня по музеям и сегодня, позвонив, намекнула, что мы тоже куда-то направимся типа этого. Она говорит, осознала, что совсем не знает города; почему-то туристы кучами приезжают глазеть на картины, дворцы и прочие сокровища Петербурга, и ей тоже этого захотелось.

– Давай встретимся возле Гостиного, – сказала она, – у киоска, где проводят поездки. Знаешь?

– Ну давай. Мне, в общем-то, без разницы.

– Значит, завтра в десять.

– Хорошо.

И как раз ночью выпал снег, утро получилось холодным, ветер устроил почти что метель. Я шел до метро, проклинал Алену, погоду, мать, которая после долгой борьбы швырнула мне в рожу измятую пятерку. Хотелось жрать, глаза болели от долгого сна, в кармане лежала полупустая пачка «Беломора», а в спичечном коробке остаток баша, которого в лучшем случае хватит на три косяка.

Тротуары скользкие, – когда начал падать снег, асфальт еще сохранял тепло и снег таял, а теперь люди поскальзывались, сумки с продуктами тяжело бились об лед. Машины металась по улицам с включенными фарами, готовые передавить зазевавшихся. На светофорах слыш-

ком долго не зажигался зеленый, я коченел, переминался с ноги на ногу, ожидая дозволения преодолеть проезжую часть.

Да, я был недоволен, но все же хотел встречи с Аленой, увидеть ее, еще более увядшую, нездорово располневшую, в той же шубке, что она носила когда-то молоденькой и аппетитной, теперь истертой, поеденной молю, как и ее хозяйка. Хе-хе, можно встать на голову, можно расшибить эту голову о стену – ничего существенно не изменится. Жизнь, она всего-навсего затяжной прыжок из одной ямы в другую. Можно не выходить из музеев, можно все заучить наизусть, но если человек глуп от природы, как мы с тобой, это все, конец, это непоправимо. Чего ты хочешь, ведь время ушло, и сначала ничего не было, и теперь, и тем более ничего не намечается дальше.

И смех чуть не взорвал меня, когда я ее увидел. Она старательно прямилась, на голове высокая причудливая шапка из меха то ли норки, то ли соболя, не разбираюсь. Да, она старалась казаться солидной и привлекательной, но была похожа на клоунессу. На лице лежал такой слой грима, что никто не отважился бы ее поцеловать, измажешься – не отмыться. Высосанные по юности губы увеличены раза в два, глаза обмазаны черной тушью, но сами они бесцветны, в них теперь ничего не осталось. Она, наверное, жутко пьет. У нее лицо алкоголички. Она пьет и мечтает о лучшем.

– Привет, – сказал я.

– Привет.

Мы щупаем друг друга взглядами, и я знаю, что у нее похожее чувство, ей тоже горько-смешно. «Вот ты уже какой, Рома. Мальчик Рома, который не решался взять меня за руку. У тебя так отупело лицо, ты побрился клочками, тебе давно надоело бриться, ты делаешь это кое-как, через силу, не глядя в зеркало. Из носа торчат волосинки. Твое пальто потеряло всякую форму и стало похоже на мешок с дырками. Идиотская спортивная шапочка-петушок...» Насмотревшись, чуть привыкнув друг к другу, мы начинаем общаться вслух.

– Я хочу съездить в Петродворец. Ты не против? – спрашивает Алена.

Я пожимаю плечами:

– Как хочешь. Правда, у меня денег практически нет.

– У меня достаточно. – Она сказала таким тоном, что, мол, ты не беспокойся, за все плачу я, а ты будешь просто спутником.

Подожли к киоску. До Петергофа билет стоит полсотни.

– Дороговато, – вздохнула Алена. – Вообще-то, хочется просто прогуляться по парку, во дворец можно и не ходить. Да?

Я снова пожал плечами, она наклонилась к окошечку:

– Скажите, а без посещения дворца сколько стоит, только проезд – туда и обратно?

И начинается торг. Из киоска сначала звучит: двадцать пять! – потом сбавляют до двадцати, а еще чуть позже доходят до пятнадцати тысяч. Я стою, прячу лицо в воротник, продуваемый ветром, посыпaeмый снегом. Ужасная картина предстоящей прогулки по парку Петродворца еще более меня промораживает.

– Ближайший автобус в час, – говорит Алена. – У нас свободных два с лишним часа, даже три почти. Куда пойдем?

– Не знаю. Ты у нас главный. Я готов хоть куда.

Она пытается улыбнуться.

– А ты завтракал?

– Нет.

– Тогда пойдем перекусим. Заодно и поговорим.

Да, на улице говорить невозможно. Мало что ветер, снег, кажется не падающий с неба, а поднимающийся с земли и кружащийся, залепляющий все вокруг, так, конечно, еще и толпы людей, шум моторов, голоса зазывающих посетить Пушкин, Кронштадт, Петергоф.

Мы идем по Невскому. На углу Невского и Мойки есть довольно дешевое кафе. Главное, оно с традициями. Все меняется, а в этом кафе лет десять, а может, и больше, фирменное блюдо – сосиски пикантные, всегда несколько видов котлет и солянка. И почему-то народу там обычно почти не бывает, так что можно посидеть, поговорить, не стесняясь.

Пожрать не мешает – денек-то предстоит подвижный, надо набраться сил.

– Что ты будешь?

Черт с ней, если у нее денег немерено, пусть кормит.

– Ну, котлеты...

Она – продавщице:

– Два и одну котлеты традиционные с пюре, две булочки и два салата из помидоров.

Мне:

– Может, по сто грамм вина?

– Не знаю, Алена... Я бы лучше водки тогда...

– Сто грамм водки «Посольской» и сто «Изабели». Да, и два кофе со сливками.

Шикует. Наверное, все два года копила деньги для этого дня. Заказывает жаренку так торжественно, что мне опять делается смешно.

Людям необходимы праздники, не календарные, а просто, этикие дни психологической разгрузки, отдыха, чтобы потом, отдохнувшими или внушившими себе, что отдохнули, плюхнуться обратно в вонючее месиво существования. Пускай разгружается, я ей мешать не буду, но и помочь, скорее всего, не смогу. Я, кажется, больше ни в каких ситуациях не смогу говорить откровенно, улыбаться, да и, впрочем, не помню, когда мог. Я разлагающийся труп. Тонкая оболочка кожи еще сдерживает готовую брызнуть наружу гниль, но вот-вот она лопнет, и я вытеку, расплзусь. Более свежие трупы шарахнутся в стороны, а затем с интересом начнут разглядывать мои останки, приняухиваться, качать головами, предчувствуя такой же конец и для себя. И снег постепенно покроет меня, и все исчезнет...

Мы сидим друг напротив друга в углу небольшого уютного зала, мы не знаем, о чем говорить. Котлеты остывают, источая обалдительный запах натурального фарша. Я тороплюсь приняться за еду, поднял пузатую рюмочку:

– Что ж, за встречу?

Алена в ответ улыбнулась и даже радостно-смущенно хохотнула, и я заметил, что справа у нее нет теперь одного или двух верхних зубов.

Чокнулись. Отхлебнули. И склонились над тарелками. Надо бы спросить про сына, как вообще дела. А может, совсем и не надо. Может, она совсем этого не желает, хочет забыть об этом хоть на сегодня.

Зато она спросила:

– Как идет жизнь?

Я пожал плечами:

– Да по-прежнему. Так... идет.

– Чем занимаешься?

– Ничем в принципе. А ты?

– Все там же, библиотекарем.

– А-а... Что, допьем?

Чокнулись. Допили. Пожевали.

– У меня есть место, куда устроиться можно. Зарплата, правда, не очень, но...

– Нет, спасибо, Ален, я нашел как раз работенку.

Я вру. Я хочу не работать, а она может предложить только работу. Там надо горбатиться, потеть, скучать за три сотни, пусть даже за пять. А что это такое – пять сотен?.. Вот они, они же после своего трудового дня ничего больше не могут, они выжаты и опустошены. Они поползают до дому, впикивают в себя ужин, все равно что, падают в кресло или на диван и

смотрят в телик, пока могут, а потом засыпают тяжелым сном с кошмарами. И так непрерывно, пока не износятся.

Время от времени я сталкиваюсь со своим соседом Алешей Яковлевым, он почти мой ровесник, чуть моложе, ему лет двадцать пять. Теперь он живет где-то у парка Победы, а сюда приезжает к родителям. Он стал каким-то крупным дельцом по джинсам, оптовик. У него есть склад, и он неизменно при встрече предлагает мне идти к нему рабочим. Наверное, из жалости. «Но надо работать, – предупреждает он. – Десять баксов в день, но надо работать». Я отказываюсь, я не хочу, а точнее – не могу. Работать. Как только я представляю, что меня долбит по башке трескотня будильника, что надо вскакивать и собираться, торопливо завтракать, бояться не опоздать... Это Леша крутится как заведенный, он не может позволить себе не то что вечером как следует набраться водочкой или коньяком, но даже выкурить косяк на двоих. «Нет, старик, мне надо быть в форме», – говорит он. Такая участь не для меня.

– Как сын, Алена? Он, должно быть, уже в школу пошел?

Алена улыбнулась, укоризненно покачала головой:

– Забыл, да? Еще в прошлый раз, когда мы с тобой вот так вот сидели, Игорь во втором учился.

– Правда? Теперь, значит, в четвертом! – Я делаю вид, что удивлен. Нет, я удивлялся когда-то по другому поводу: ведь, говорят, что, если девушка в раннем возрасте делает аборт, тем более где-то по-левому, она не может забеременеть снова, а Алена смогла вот. И родила.

– Уже в четвертом, да. Ты-то жениться не собираешься?

– Нет-нет.

Самое страшное – плотно жить с женщиной, пусть даже непродолжительное время. Если она богата, ты в любом случае чувствуешь себя обязанным ей, ты должен ей подчиняться, ведь она содержит тебя. Если же она тебе нравится, до того нравится, что ты хочешь ее еще и еще, не можешь быть без нее, это плохо совсем. Я так влипал несколько раз, в двадцать – двадцать три года, после армии. Теперь, слава богу, нет. Одна девчонка, милая крашеная блондиночка, свежая, умная, разводная, похожая на весну, заразила меня триппаком. Такого я не ожидал, потому что любил ее. И, осиливая боль, чтобы поссать, я думал о ней, зажмурясь от рези, представлял ее, такую прекрасную и заразную, и любовь вытекала вместе с мутной, дорого стоящей мне тогда струйкой мочи.

– Так, куда мы теперь направимся?

Все уничтожено, даже салат из помидоров, который я поедал особенно медленно: такая роскошь, тем более в декабре!

– У нас осталось больше двух часов. Давай сходим в Эрмитаж?

– Ну давай, – соглашаюсь. – Только мне надо тут одно дельце...

Я ушел в туалет, раскрошил ногтями башик и забил сразу все три косяка, – черт знает, будет ли для этого в дальнейшем подходящее место. А сейчас, перед таким грузом, как посещение Эрмитажа, дунуть просто необходимо.

* * *

На Дворцовой дети играют в снежки, им плевать на ветер. Я тоже был когда-то таким, теперь же каждая минута на холоде доставляет мне ужасный напряг. Хорошо, что в кулаке теплится косячок. Я затягиваюсь и чувствую, что еще немного смогу продержаться.

– Ты случаем пока не колешься? – задает идиотский вопрос Алена. Ведь мы беседуем об этом каждую встречу.

Мне приходится вновь объяснять:

– Иногда... Денег нет таких. А присесть бы хотелось. Когда человек пьет или укуривается – меняется он, а когда ширяется – меняется мир.

- Ах, как умно! – восклицает Алена. И добавляет просительно: – Не надо. Это страшно.
- Хм...
- У меня соседка, совсем девчонка еще...

Вошли в Эрмитаж. Людей мало – недавно открыли. За пару часов мы немного сможем увидеть, но и этого хватает. Вообще, попадая в музеи, галереи и прочие подобные места, я во всей полноте осознаю свою ничтожность и невежество. Я смотрю на наследие всяких цивилизаций и ничего не понимаю; имена богов, символы, события, сюжеты никак не отзываются в моей душе. Взгляд скользит по картинам, скульптурам, а мозг молчит. И главное, на лицах других посетителей я вижу то же самое, у них такие же лица, как и мое. Самое большее, что они могут выдать: «Вот жили же люди!»

Какой-то хрусталь, столовое серебро, плевательницы... У Алены блестят глаза, ей, наверное, представляется, как бы эти поделки украсили ее убогий сервант... Зал Отечественной войны двенадцатого года.

- Кто это на белом коне на той картине?
- Кутузов скорей всего.

Приблизились. Оказалось – Александр Первый.

Ходим, ходим, рассматриваем. Алена пустилась в рассуждения о живописи. Да, у нее, кажется, хватает времени и сил читать о художниках и их творениях. Библиотекарь все ж таки... Даже термины какие-то запомнила.

– Хотелось бы посмотреть картины Босха. Жаль, что у нас их нет, а репродукции совсем не то.

- Да, – соглашаюсь.

В залах импрессионистов Алена не нашла ничего более подходящего, чем спросить:

- Что ты сейчас читаешь?
- М-м... – Я не соврал: – Ничего.

В прошлый раз мы много говорили о литературе. Тогда как раз появилась вся эта «неизвестная классика», и я был увлечен ею. Искал деньги, бегал по магазинам, поглощал книги одну за другой. А потом мне стало понятно. Да это просто старые желчные уроды! Они изматывались жизнью, пережили себя как людей и сели писать. Кучка тридцатипятилетних мужчин с опавшими членами. Они нюхали свои подмышки и описывали свои ощущения. У всех у них первые вещи еще занимают, я видел там близкое, я удивлялся. А второе, третье, десятое... Станок для зарабатывания денег. Они сделали из этого бизнес. В итоге сдохли от сытой, спокойной старости в окружении любовников и любовниц. Обеспечили свое будущее, вопя, что будущего нет... И теперь я ничего не читаю.

- Тебе нравится Гоген?
- Так... Тоже слишком долго...
- Почему тоже? И долго?
- Нет, это я о своем. Просто думал.

Художников можно простить. Они шли медленно и осторожно. Все время искали. Писаки же находили струю, строчили и собирали башли.

Мы бредем из зала в зал. Алена читает фамилии мастеров, названия картин, подолгу задерживается у какого-нибудь полотна, рассматривает издали, вблизи, отходит влево, вправо. Строит из себя настоящего ценителя и знатока. Мне же из всего увиденного запомнились три-четыре картины, это у французов, современников импрессионистов, но представителей классической манеры. Они классно рисовали голых женщин, так возбуждающе, что мне аж стало трудно ходить. Особенно картина «Продажа невольницы». Помост, продавец, внизу толпа римлян, они тоже возбуждены, они кричат, повышают цену, чуть не дерутся из-за молоденькой пухленькой рабыни, которая откровенно выставила им свои прелести. Были бы у меня деньги, и я б не пропустил свой кайф. А больше в искусстве я просто ни во что не въезжаю.

Мне непонятны какие-то там полутона, линии, мифические сценки; мне доступно только простейшее. Вот «Деревенский праздник», тоже неплохая вещичка. Один блюет, другой мочится на стену, третий так реалистично залез бабище под юбку... Прикольно.

– Что, пора на автобус, – с сожалением вздыхает Алена. – Половина первого.

– Поедем?

– Ты не против?

– Да нет, нет.

Мы поспели вовремя, но еще минут пятнадцать сидели в салоне, так как экскурсоводы никак не могли собрать минимального количества пассажиров. Они, надрываясь, расхваливали в мегафоны сказочной красоты Петергофский дворец, зимнюю задумчивость парка, и какая-то парочка наконец клюнула; мы поехали.

Хотелось пить, я жалел, что не развел Алену на баночку «Фанты», а путь предстоял довольно долгий. Пришлось терпеть. Алена молчала, смотрела в окно, я же скрючился на сиденье, закрыл глаза, ползал языком по осколкам сгнивших зубов, размышлял, как бы получше провести вечер. Сегодня суббота, вход почти во все клубы дороже, чем по будням. В мой любимый «Планетарий» – шестьдесят. А еще там надо чего-нибудь выпить, хорошо бы плана съездить купить, на это тоже сколько денег надо... Проблем достаточно.

Экскурсовод заученно рассказывает нам об истории создания Петродворца, о парке и фонтанном комплексе, об уникальной реставрационной работе, проведенной после Великой Отечественной. По ходу обращает наше внимание на то или иное здание, мост, объясняет, почему Фонтанка названа Фонтанкой, и прочее. Пусть говорит, лишь бы Алена молчала, ведь мне придется что-нибудь отвечать, а ни сил, ни желания нет.

История... Зачем в ней ковыряются, разгребают пепел прошлого, сдувают пыль с никому не нужных событий? Понятно, что есть определенное количество ненормальных, для которых история – это их жизнь. То есть они живут историей, они плавают в ней, как рыбы в воде, и радуются, что их не тянет выброситься на сушу. «Да что здесь интересного? Что может быть стоящего в сегодняшнем? Вот Месопотамия третьего тысячелетия до нашей эры – это здорово, стоит положить на ее изучение жизнь!...» Есть еще другие, они проводят всевозможные параллели, анализируют, объясняют: «Ничего страшного нет, вот три с половиной века назад происходило нечто подобное, еще хуже, и Родина наша благополучно преодолела это и, значит, преодолеет и теперь...» Да ничему она никого не учит, эта история, нет у нее ни линейности, ни цикличности, ни чего другого. Сел царь и давай экспериментировать – вот тебе и новый этап. А стадо засучило рукава, принялось строить или разрушать, воевать или дружить, голодать или обжираться, пить или заниматься физкультурой.

История – цепь занятно-кровавых баек, которые время от времени можно почитать по обкурке, перед тем как срубишься.

Сейчас ею, кажется, пропитано все вокруг. Книжки всякие исторические горой на прилавках, церкви трезвонят на каждом углу, по телику только и твердят, что Россия – великая держава, у нее великая история, великое предназначение, у нее свой великий путь. Чем сильнее мы увязаем в дерьме, тем громче орем об истории, тем яростнее дергаем за веревки колоколов. А я так считаю: всегда Россия валялась пьяной в углу и просила пожрать и еще долбануть водяры. Всякие немцы, шведы, англичане, французы совали ей то, что просила, и снимали взамен с нее шапку, сапоги, полушубок. Иногда Россия эта поднималась, била кого-нибудь в морду, отбирала одежонку обратно и снова валилась в угол, пила и просила пойла еще... Все здесь делали иностранцы, но нашими трясушимися с похмелья руками.

* * *

Погода резко изменилась. Снег перестал, ветер почти утих. Уродливые рваные тучи лишь ненадолго закрывали солнце. Потеплело, все стало разноцветным.

– Красиво как! – воскликнула Алена, выходя из автобуса. Она жмурилась, глубоко вдыхала чистый воздух, улыбалась.

– Давай зайдем в кафе, – предложил я, – пить очень хочется.

– Конечно, конечно.

Мы выпили чаю и съели по пирожку с капустой.

– Во сколько сказали вернуться к автобусу?

– К четырем. Больше часа можем гулять.

Я вздохнул:

– Хорошо.

Пора раскуриться. Без поддержки прогулку перенести будет ой как трудно. Нужно ходить по заснеженным дорожкам, любоваться искусно подстриженными деревьями, одинокой скульптурой дерущихся Самсона и льва, почему-то не накрытой деревянным зеленым ящиком, как остальные; дворцом, который отсюда, из парка, кажется еще более массивным и в то же время будто готовым взлететь.

– Красота, красота! – вымученно восхищается Алена. – Правда ведь?

А я ненавижу красоту. Красота – это ложь. Людям свойственно убожество и безобразие, и поэтому они стремятся создать красоту, а потом восхищаются ею. Их питает красота, как меня гашиш... Но любая красота – от природной до какой-нибудь красоты души – обязательно перерождается в безобразие. Обязательно. Сколько передохло людей, пока строили сей великолепный дворец? Вот бы раскинулось рядом с ним кладбище упавших, надорвавшихся, задавленных, забитых, тогда бы задумались многие – восхищаться или снять шапку. Архитектор такой-то, эпоха такого-то. А про мурашей никто и не вспоминает. Сойдите с центральной улицы, нырните под арку, и вы увидите эти кровавые стены, красные стены, они, как куски сырого мяса, вечно сырого, гниющего мяса. Вот она, изнанка дворцов, изнанка красоты, изнанка вашего тупого, плотоядного восхищения...

– Пойдем к заливу, – предложила Алена.

– Как хочешь.

Парк почти пуст. Лишь изредка попадаются гуляющие, такие же тихие, блеклые, как и мы. Тени, все похожи на тени. Размытые, тусклые тени, по ним можно ходить, но тени не чувствуют, они еле слышно и очень жалобно шепчут: «Помогите... ради сироток... все-все сгорело... проверьте документы... помогите...» Они молят, крестят другие тени, кланяются им, желают здоровья. Все ради копеечки. Нужно много усилий, чтобы поверить, что это люди, и что я человек, и вот это пятно, и это – тоже. В словах «человек – звучит гордо» мне слышится издевательство сказавшего над всеми, и в первую очередь над самим собой, и после этих слов он обязательно должен плюнуть себе в лицо.

Притворяются, все кругом притворяются, сдерживают жгучее желание встать на четвереньки... Да и встают, некоторые уже встают.

– Чудесно как! – не может успокоиться Алена и даже подрагивает от величия этой чудесности или просто начинает замерзать.

Мы стояли у самой кромки воды и смотрели вдаль, на еле различимые в хмари берега, на небо, разукрашенное десятками цветов и оттенков; оно было таким холодным и таким неожиданным глубоким, что казалось, нам может что-то открыться. Алена долго смотрела туда, в это небо, – она, наверное, ждала, что сейчас вот ей действительно возьмет и откроется... Потом

мы пошли вдоль берега, пустые раковины трещали, ломаясь под нашими ногами. Над водой летали озябшие вороны, покрякивая на уток, которые равнодушно качались на слабых волнах.

– Вон скамейка, давай покурим, – сказала Алена.

– Давай.

Поднялись к одиноко стоящей под полосатым бело-красным столбом скамейке, я перчаткой очистил ее от снега, и мы сели. Алена достала из сумочки пачку «Союз-Аполлона», я протянул зажигалку. Впервые за нашу встречу она закурила. И тут случилось то, чего я боялся, – она начала говорить:

– Знаешь, в последнее время я стала жить как-то не то чтобы медленнее, а стала замечать окружающее. Когда я иду, я уже не просто иду, а смотрю на людей, на дома. Мне почему-то стало так интересно, что делается вокруг... Понимаешь?

– Да, да, – закивал я и, когда она продолжила, с тоской уставился на залив, стараясь не слушать.

– Я поняла, что очень многое не замечала раньше, не знаю, не умею, а без этого нельзя. Вот небо...

Ну конечно!

– ...ведь это чудо. Смотри, какое небо. И голубое, и тут же розовое, сиреневатое... даже не скажешь словами, я не могу описать его, но я чувствую. Понимаешь? И как бегут облака. Смотри, как они быстро бегут, и все совсем разные.

– Да, да...

– Я чувствую, что я совсем пустая внутри. Я ничего не умею и не знаю. Мне хочется наверстать. У меня растет сын, я хочу, чтобы он вырос и имел представление...

Кораблик быстро шел по заливу, но вдруг резко остановился, постоял несколько минут и так же быстро пошел дальше.

– Сегодня мы ходили по Эрмитажу. Я с ужасом думаю: когда я приведу его в Эрмитаж и он будет задавать вопросы, – ведь я ничего не смогу ответить ему. В мире столько всего, что нужно знать, а жизнь так складывается...

– Ничего, Алена, все будет нормально.

Что я еще мог сказать? И правильно, что я сказал это, – Алена замолчала и нервно бросила окурки в снег.

Мы направились к далеко выходящей в залив косе, или молу, или пирсу (не знаю, как правильно это называется). На конце его стоит маленькое здание, оно похоже на главный дворец, тех же времен, оно даже покрашено так же. Большие окна закрыты деревянными щитами.

– Что это? – кивнула на него Алена.

– Не знаю.

Здесь, на косе, свободно гуляет ветер, у меня сразу начинает мерзнуть голова, но Алена тянет дальше, за надпись: «Проход к теплоходу». Железные мосточки, невысокие ограждения, а вот ограждения нет, – сюда, наверное, как раз и проходят на теплоход пассажиры.

Алена стоит на самом-самом краю. Она не держится за ограждение, ее покачивают порывы ветра. Она смотрит на воду. Сначала вперед, а потом под ноги. Сейчас порыв покрепче ударит ей в спину, и она упадет. Не закричит, не будет, захлебываясь, звать не помощь, не станет барахтаться, а послушно пойдет на дно. Да, это выход. Может, она почувствует счастье, что так произошло, все так закончилось.

Мы шли с косы быстрым шагом, окоченев от ледяного ветра. В парке его почти нет.

– Нужно уже на автобус, – вздохнула Алена.

– Да.

Заметно вечерело. Цвета тускнели, готовясь слиться в единый серый, а затем в черный.

– Наверное, я начинаю стареть, – призналась Алена, как бы подводя итог своей неудачной попытке монолога.

– Да уж, – хмыкнул я.

Каждое ее слово раздражало, оно словно корябало что-то у меня внутри. Я как раз думал о предстоящем вечере и понимал, что он будет невеселый. Я не пойду в клуб, не куплю травы. Мне придется валяться у себя на диване, вдыхать запах гнили и слушать «Нирвану». Будет время от времени заглядывать мать и кричать своим трясущимся голосом, чтобы я сделал тише, а я буду кричать, чтобы она закрыла дверь и засунула вату в уши.

– Пожили, – неосторожно сказал я, больше горестно так простонал про себя, чем обращаясь к Алене.

Она тут же вцепилась мне в руку, остановила и с испугом заглянула в глаза. Ее слабо пока обвисшие щеки подрагивали.

– Ты так считаешь? Действительно?

Я пожал плечами:

– А что, неплохо же было... Побухали, потрахались, пора и честь знать. Пойдем, Ален, а то опоздаем.

Да, сейчас из нее готово было политься все, над чем она размышляет там, у себя дома или на работе, день за днем, месяц за месяцем. Ведь человек обязан непрерывно думать. Он может думать о том, как бы развести приглянувшуюся девчонку, где бы найти башлей на выпивку, а может, конечно, ломать мозги о смысле жизни и прочей такой лабуде, тем более если работает библиотекарем и волей-неволей заглядывает в разные книжки. Нет, пусть она там о чем хочет себе размышляет, но зачем это вываливать на меня?!

– Я все понимаю, Алена, – потащил я ее прочь из парка. – Я все прекрасно понимаю. Давай не будем грузить друг друга. Ладно? Я все прекрасно понимаю. Все будет нормально. Да и ничего, в общем-то, не случилось. Все нормально.

* * *

Возвращались в город уже по темноте. Свет в салоне не зажгли, и я почти всю дорогу дремал. Очнулся, только когда ехали по Садовой. Алена смотрела в окно, думала, наверное, все о том же.

– Ну, что дальше? – спросил я, когда мы снова оказались возле Гостиного.

Снег снова сыпался, ветер кружил его, бросал на киоски и здания, на прохожих. Скорее всего погода здесь и не менялась. Передо мной с новой силой встала кислая перспектива сегодняшнего вечера. Хотелось выкурить косяк, но он был последний...

– Может быть, пойдем поужинаем? – сказала Алена.

– Я не против.

Мы, согнувшись, пряча от ветра лица, дошли до кафе на углу Невского и Мойки. Долго выбирали, что бы поесть. Наконец выбрали и сели за стол. Алена подняла пузатую рюмочку с «Изабелью».

– Хороший сегодня был день, – улыбаясь, ненатурально приподнято сказала она.

– Да, – ответил я.

Чокнулись, отпили немного.

– Прекрасное вино.

– И водка ничего.

Похлебали из глиняных горшочков пикантных сосисок, Алена вздохнула:

– Ты прав, все в принципе идет неплохо... Неплохо... Но как-то не так... и шло тем более не так. Много лишнего было, мимо многого настоящего прошла... а теперь вижу, нельзя было...

Она ждала от меня каких-то слов утешения, жалости, понимания, но я молчал, нагло ел пикантные сосиски и молчал. Конечно, о многом можно жалеть, когда тебе столько лет. Еще

не слишком много, чтобы потерять всякую надежду, но уже не так мало, чтоб успокаивать себя мыслью – жизнь впереди. Конечно, у нее ребенок растет без отца, у нее старые родители, которые вот-вот лишатся последних сил и за ними нужно будет ухаживать; у нее неденежная работа и тесная квартира в районе метро «Улица Дыбенко», где в одной комнате старики, а в другой она с десятилетним Игорем. И никаких особых радостей впереди, и ничего она не может изменить, и глупость свою чувствует, ничтожность, и вот ей обидно. Да, лет-то уже достаточно, а намека на счастье все нет.

– Как твоя мать? – спрашивает Алена.

И я вру, чтобы ее успокоить:

– Болеет сильно, в этом году два раза в больнице лежала. Как давление поднимается – совсем умирает.

От этих слов Алена бодрее и подхватывает:

– И мои тоже сдают... Отец особенно, тут нога левая отнялась, пролежал два месяца. Сейчас вроде бы отошло, с палочкой может потихоньку...

Вот-вот, конечно... Я киваю, предлагаю допить:

– Давай? Жизнь, Алена, что тут поделаешь...

Заканчивается наш общий день, идем к метро. Мне хочется идти быстрее, но Алена не спешит. Она прижалась ко мне и вышагивает вызывающе медленно, так, что еле сдерживаю желание бросить ее и сбежать. Правой рукой она ловит мечущиеся снежинки. Когда проходим Казанский собор, предлагает зайти.

– Как хочешь, – соглашаюсь.

Долго ищем вход и в конце концов находим. Музей закрыт, а церковь, естественно, работает. Людей мало, некоторые рассматривают иконы, листают христианскую литературу, которая разложена на столе неподалеку от входа, другие молятся.

Глаза у Алены изменились, из выцветших и пустых они превратились в живые, страшно поблескивающие. Но это, скорее всего, из-за горящих свечей.

– Знаешь, мне теперь нравится бывать в церквях, – признается она. – Я ничего не знаю о вере и поэтому не могу верить, как надо, но, кажется, чувствую. Что-то чувствую такое...

Ну конечно, конечно! Сюда таким и дорога. Сперва поживут, погрешат вволю, а когда приходит время задуматься – так лезут в церкви, к иконам, к свечкам, к крестикам, ладанкам всяким. Все эти сухонькие, пришибленные старушки, они что, всегда, что ли, были такими? Да еще недавно они выделяли в своем последнем сучьем полете, что вам пока и не снилось, а теперь – на коленки, конечно, сморщенными пальцами ко лбу, к животу, к правому плечу, левому, нащепывать что-то там о спасении и сохранении своих жалких, лживых душонок.

– Пойдем, Ален, а?

После церковного смрада приятна свежесть улицы, и даже ветер и снег не так раздражают меня.

Мы стоим под колоннами, я тяну косяк, Алена свой «Союз-Аполлон». Через несколько минут мы расстанемся. Опять года на два.

– Спасибо тебе за этот день, – говорит Алена. – Пора домой...

– Тебе тоже, – отвечаю я.

Последний косяк.... Вот я провожу ее до метро и отправлюсь искать гаша на завтра, искать деньги, чтобы купить.

– Слушай, Алена... Мне неудобно тебя просить об этом... Если у тебя есть сейчас свободные... Я на днях постараюсь вернуть...

Она торопливо кивнула, открыла сумочку:

– Да, да! У меня сейчас с деньгами неплохо...

Она суежилась, говорила так, будто она должна мне с давних пор, и вот я спросил ее об этом долге, и ей теперь стыдно, что она так задержала... Она даже не спросила, сколько мне нужно.

– Вот пятьдесят...

– О, спасибо, Алена, огромное! – Я прячу деньги в карман. – Спасибо!

– Хватит, да?

– Да, да! Я тебе на днях буквально. У тебя телефон тот же?

– Тот же.

Мы докурили и направились к Гостиному двору, все так же медленно, как хотелось идти Алене. Казалось, каждая минута со мной была ей очень важна, она шла к метро как бы с трудом. Да куда ей, собственно, торопиться? Что ждет ее дома? Продолжится все та же тяготица, день за днем, день за днем...

– И все же, если у тебя есть желание. Неплохое место, можно работать. Деньги небольшие, но хоть что-то...

– Я устроился, устроился, – перебил я. – Но зарплата... да и когда она... Мать тоже...

Моя мать работает вахтершей сутки через трое, еще уборщицей в том же учреждении, после работы пару часов обязательно проводит в метро со свежим «Космополитеном», плюс к тому собирает где ни попадя пустые бутылки. Я как-то увидел ее внутри нашей станции на Васильевском острове с номером «Космополитена» в руках, и меня чуть не вырвало. Стоит такая усыхающая, безобразно стареющая женщина, а на обложке мясистая, золотистая соска с сочными сиськами... Они на все, что угодно, готовы, эти люди.

– Я верну, Ален. Как только получу, и верну.

Мы дошли до метро. Наконец-то настала минута попрощаться и разбежаться. Я готов в любую секунду бросить Алене: «Пока!» – и скрыться в общей массе. Я с тоской ожидал ее прощальный монолог и благодарности, что она так замечательно провела этот день. И все это было, конечно. Мы стояли у мраморной стены, мимо тек человекопоток, и я смотрел на него и выслушивал Аленину речь:

– ...Мне очень помог сегодняшний день. Знаешь, человеку иногда нужны такие именно дни, нужно хоть ненадолго...

Да, да, знаю я все это! Ну давай, скажи мне: «До встречи!» – а потом уходи к сыну своему Игорю, к родителям, к работе. Снова живи пару лет ради нового такого же дня... И я проводил ее прямо до турникетов, она ткнулась мне в щеку губами, пожала руку и сказала с чувством:

– Спасибо!

И я тоже сказал:

– Спасибо!

Она исчезла.

Часы показывали начало восьмого. Отлично! Весь вечер еще впереди, а с пятью десятками он обещается быть неплохим.

Я купил в кассе жетончик и направился к телефону-автомату.

– Не опускайте, пожалуйста, – попросил щупленький мужичонка в помятой старой шляпе и сам вставил в желобок подточенный двадцатирублевик, – если не сработает, то ладно, а если... то жетончик, пожалуйста...

– Хорошо, – ответил я, набирая номер.

Мужичок занялся другими, вставлял монетки и объяснял, что и как.

– Привет, Серый! Это я. Ты дома будешь сейчас? Я к тебе тогда еду... Ну, за все тем же. У тебя есть? Ну и ништяк. У меня полтинник. Да. Ну, там посмотрим. Еду.

Нужный парень оказался дома, он меня ждет. На пятьдесят мало, конечно, гаша выходит, но завтрашний день обеспечен.

Мужичок следит за другими, и я незаметно смываюсь. Вот и полторы тысячи сэкономил.

– Дастищ фантастищ, девочка моя, – напеваю, спускаясь по эскалатору, – дастищ фантастищ, ля-ля-ля-ля-ля...

Сейчас прикуплю гашика, потом поеду к «Планетарию», может, встречу знакомых, попробую упасть им на хвост.

1996 г.

Оборванный календарь

Заскреб в замке ключ, точно в мозгу кто-то стал ковырять шершавым стальным штырьком. Потом с громким болезненным писком открылась дверь. Топтание в прихожей, шуршание полиэтиленового пакета. Снова писк двери, удар ее о косяк (никак не может, что ли, Наталья запомнить, что дверь просела и надо ее приподнимать, когда закрываешь?). Елена Юрьевна хотела подсказать, но та уже справилась. Замок защелкнулся. Новые неприятные, резкие, раздражающие звуки: хлопок выключателя, шлепки сброшенных с полочки тапок... Елена Юрьевна смотрит в сторону прихожей, оттуда желтоватый, теплый свет лампочки, – там энергично и уверенно шевелится молодое красивое существо. Красивое, потому что молодое... Сейчас появится, войдет, наполнит комнату; Елена Юрьевна с нетерпением и страхом ждет.

В комнате полумрак, сгущаемый темной мебелью, потемневшими прямоугольниками картин на покрытых потемневшими обоями стенах. Окно почти целиком закрыто старинными, толстыми шторами, которые и недавняя стирка не смогла осветлить. Сквозь щель между шторами – холодная, синеватая муть зимнего непогожего дня. Почему-то именно в декабре такие дни, все дни кажутся непогожими. Даже когда нет ветра, когда тает снег, небо ясное, – все равно чувство, что за окном, на улице, метель, солнце прячется в пластах плотных туч, все живое только и мечтает о том, чтобы скорее, скорее спрятаться, укрыться в жилище, переждать, дожить до весны, хотя бы до нового года, а там сразу станет светлее, легче, теплее, там обязательно что-нибудь случится хорошее.

– Я пришла, Елена Юрьевна! – объявила Наталья, улыбаясь неприятной, лживой, юной улыбкой. Смотрела на старуху с минуту, ожидая чего-то, не дождалась, спросила: – Как чувствуете себя?

Елена Юрьевна промолчала. Наталья пошла на кухню... Муж называл ее Еленочкой, Ёлочкой; сын – «мама, мамуля». А другие – чаще всего – сухо, делово: «Гражданка, товарищ, Елена Юрьевна». «Елена Юрьевна», – это и сотни ее студентов, несколько поколений, для которых она была строгим, беспощадным преподавателем, помешанным на своей биологии. Между собой они ее величали (она, конечно, знала об этом) – Гидра. Теперь и ее, Елену Юрьевну, и ее прозвище давно забыли – почти десять лет как не работает. Теперь приходится слышать ей в свой адрес презрительно-мягкое, особенно обидное из уст молодых женщин: «Бабушка!» «Садитесь, бабушка», «Бабушка, посторонись!», «Может быть, без очереди пройдете, бабушка?», «Бабушка, в переднюю дверь лучше бы вам». На остановке, в магазине, на почте, в троллейбусе... Незаметно, вдруг, однажды Елена Юрьевна из статной, красивой, гордой, для многих грозной женщины превратилась в немощную, согнутую старуху, которую боится зашибить пустой коробкой грузчик, которую готовы пропустить без очереди, посадить на сиденье, пока не упала... Слово «бабушка» она ненавидела, и другие обращения были теперь ей обидны и неприятны, от них веяло холодом одиночества; хотелось, чтобы называли как-то по-родному, теплее.

– Наталья, не зови ты меня Еленой Юрьевной, – стараясь говорить громче, велела она. – Я тебе тетя. М-м... Тетя Лена.

Племянница в четыре раза моложе ее, ей девятнадцать, да и племянницей она могла считаться с большой натяжкой. Скорее внучка, дочь дочери сестры...

– Хорошо, тетя Лена! – согласилась Наталья; она разбирала на кухне продукты, хлопала то дверцей шкафчика, то холодильника, то хлебницы; ответила приподнято, с готовностью и со скрытым равнодушным согласием: как хотите, можно и так, если вам приятнее кажется.

И Елена Юрьевна вспомнила, что уже раза два-три просила племянницу об этом, но та, видимо, забывала, возвращалась к «Елена Юрьевна».

«Действительно, какая я ей тетя. Тетя – слово теплое, сладкое, а я... Пирожков с вареньем не стряпала, не нянчилась с ней. Какая я тетя... Так, чужая, ворчливая бабка...»

– Наталья, электричество погаси в коридоре! – И хотела добавить: «Не тебе, конечно, платить». Пересилила себя, не сказала.

Племянница вернулась в прихожую, на лице ее старуха увидела вспышку досады. Понятно... Этого и следует ожидать. Она просто терпеть пытается, понятно для чего... Что ж, дотерпит, недолго уже...

– Кушать будете? – спросила Наталья. – Я суп тогда разогрею.

– А ты? – через силу проговорила Елена Юрьевна, стараясь притушить разрастающуюся обиду.

– Да я не хочу.

– Не хочешь?..

Дышать было тяжело, произносить слова приходилось с трудом; и голос старухи прерывался и дрожал, одна темная мысль наплывала на другую, догадки превращались в уверенность. «Она и ела-то со мной за эти два месяца – на пальцах пересчитать. Конечно, любой аппетит пропадет... на меня глядя».

– И я тоже не буду. Не хочу, – твердо и четко бросила Елена Юрьевна, повернула лицо к окну, смотрела на полоску сгущающейся сини между шторами.

Скорее всего, да нет – естественно, что Наталья сейчас пожмет плечами, раздраженно цокнет языком. Не понимает она, мол, этих старушечьих капризов... Ну пусть, пусть. Все останется ей, все ведь это теперь ее, а она, Елена Юрьевна, точнее – то, что от нее осталось еще, – лишний, никому не нужный предмет, требующий пока ухода и внимания, и хочется его выбросить прочь, чтоб не мешался, не раздражал. Что ж, понятно... И старуху тянуло выкрикнуть в отчаянии: «Ну куда мне деться?! Скажи!» И хотелось просить племянницу потерпеть, дать умереть в своем углу... Вот тогда пусть и отдыхает, хозяйничает, распоряжается всем.

Потекли одна за другой частые слезы. Долго блуждали по бороздам морщин и наконец, добравшись до подбородка, капали на старый, но крепкий, толстый халат. Он помнил ее другой, этот халат, совсем другой, да и сама она помнила себя сильной, здоровой и в сорок пять лет сводящей мужчин с ума, недоступной, обворожительной. Совсем недавно было. Пятидесятилетие, шестидесятилетие, кажется, намного дальше, чем она сорокалетняя... А теперь как?.. Каждое утро приносит с собой горечь и темную перспективу нового пустого и холодного дня. Сколько еще впереди таких дней? Отравленных, никому не нужных, сулящих только боль и напрасное ожидание конца-избавления...

Елена Юрьевна попыталась остановить слезы, от этого они побежали сильнее. Рванулось из изорванной, забитой горькой таблеточной слизью груди рыдание. Старуха одной рукой схватилась за лицо, сжала губы и нос, другой тянула из кармана платок.

Выскочила из кухни племянница.

– Что с вами, Елена Юрьевна? Тетя Лена... Воды дать? – испуганно спрашивала девушка, стоя в шаге от тетки.

– У... уйди... Сейчас прой... пройдет, – задыхаясь, сквозь слезы, хрипло выдыхала Елена Юрьевна. – Уйди... Успокоюсь.

Наталья повернулась, пошла на кухню. Принесла чашку с водой. Старуха, трясаясь, выбила из пузырька маленькую стопочку по капле корвалол.

– Не надо, тетя Лена, вам волноваться нельзя. Что случилось? Я что-нибудь не так? – Наталья присела перед нею на корточки, смотрела своими блестящими, красивыми глазами, готовая выслушать от старухи упреки и оскорбления, готовая к ним как к неизбежному составляющему ее обязанностей. Ведь старухе нельзя без упреков и обидных слов – обидно, что вокруг продолжается молодая, веселая жизнь, но она не ее теперь, она против нее. Она, как сильный птенец, – выпихивает ослабевшего из гнезда.

– Торшер, может, зажечь? Что вы впотьмах...

– Иди, Наталья, там... почитай посиди.

Оставшись одна, старуха отвалилась на мягкую спинку дивана, несколько минут сидела, глубоко дыша, закрыв измученные глаза. Лекарство подействовало, стало легче. Она немного успокоилась. Сердце, затрепетавшее было, когда рвалось рыдание, теперь снова билось ровнее, не толкалось к горлу, не падало в мертвую бездну, сжавшись от боли. Оно билось удар за ударом, стучало немного хрипло, как маятник в старых, давно не чищенных часах. С каждым ударом цепь с грузиком на конце опускается ниже, ниже; кажется, что цепь бесконечна, что грузик будет вечно опускаться и не достигнет упора. Все устало, всему хочется отдыха, а его нет, и жизнь теперь – наказание, каждый новый день словно пытка. Остается ждать, сидя на диване, тупо глядя в темноту, ждать. Проклинать себя, очередной рассвет, сильных, молодых, распускающихся, как большие цветы, людей.

Старуха поползла взглядом по комнате, надеясь найти что-нибудь, чем можно отвлечься, убить хотя бы несколько невыносимо тягостных минут.

– Наталья.

Племянница вышла из кухни.

– Подай мне ящик тот вон, белый... с карточками.

– Какой же он белый, – робко не согласилась девушка, поднимая стоящий под стеллажом металлический ящик, – скорей, коричневый...

Эмаль на ящике когда-то была белой и яркой. Елена Юрьевна хорошо помнила, как красила его белой краской. Помнила этот ящик и новеньким, разноцветным, веселым, – отец однажды принес его, он был полон халвы. Большой куб вкусной, душистой, жирной халвы... Потом ящик приспособили под муку, потом в нем держали клубки шерстяных ниток, еще позже и теперь – хранились фотографии. Постепенно разноцветная раскраска отшелушивалась, появилась чернота изъеденной временем жести, и Елена Юрьевна решила покрасить его. Вот и эта краска, хоть пока держится, но потемнела; теперь лишь по памяти можно видеть его белым, для постороннего человека он коричневый, потемневший, неотмываемо пыльный...

Елена Юрьевна приняла ящик, поставила себе на колени. Наталья стояла рядом, ожидая чего-то. Хотела, наверное, услышать «спасибо» или исполнить еще какую-нибудь просьбу. Или что?.. Нет, Елена Юрьевна не могла благодарить, она все больше и больше, и непонятно даже за что именно, злилась на племянницу, ее присутствие раздражало... Постепенно на протяжении этих двух месяцев все хуже и тяжелее. Сначала, когда Елена Юрьевна списалась с матерью Натальи, своей настоящей племянницей, дочерью младшей, несколько лет назад умершей сестры, когда начались переговоры о том, чтобы девушка переехала к ней, казалось, что все будет хорошо, что появится необходимый уход, забота, общение, такие нужные в старости одинокому человеку. И Наталья вроде бы исполнительная, внимательная, а на самом деле – невыносимо. Невыносимо само соседство молодой, красивой своей молодостью, полной сил девушки и отжившего, ждущего смерти...

Она взглянула на племянницу, их глаза встретились, и Наталья поняла, быстро ушла на кухню. Чем она там занимается, не интересовало старуху, – может, читает, а может быть, готовит отраву, чтобы убить ее. Это бы было самое правильное, самое нужное им обоим... В самом деле: что дальше? Зачем дальше?.. Открыла крышку, сняла лежащие сверху свернутые грамоты, полуистлевшие, закрученные в трубку давнишние займы, пачку особо дорогих писем. Положила на диван. Дальше – фотографии. Осыпавшиеся, побуревшие, истрескавшиеся – сороковых, пятидесятих, шестидесятых годов; семидесятых, восьмидесятых – более свежее, некоторые как совсем новенькие. А последнего десятка лет – ни одной. Да и не надо. Только расстраиваться, морщась, сравнивать с другими... И много-много, и все почти в хорошем состоянии – из детства и даже тех времен, когда Елены Юрьевны на свете не было. Портреты давным-давно умерших людей, одетых в музейные ныне платья, сюртуки, шубы. Отец, в

военной форме, с закрученными в стрелку усами, поручик на этом снимке; мать – молодая, светлая женщина с прекрасными, притягивающими глазами. Это в пятнадцатом году, мать тогда была сестрой милосердия, через несколько месяцев она познакомится с раненым офицером Масленниковым, они полюбят друг друга, поженятся, а в марте семнадцатого родится Лена. Елена Юрьевна...

Удивительно, но она помнит дословно рассказы матери, имена не только родственников, но и знакомых родителей, многих из которых в жизни никогда не видела, не знала. И сейчас, перебирая фотокарточки, она сразу узнавала на них всех изображенных, будто у нее в памяти сфотографированы те минуты, когда мать холодными, длинными вечерами так же перебирала их и рассказывала о каждом.

Незаметно стало совсем темно. И старуха, словно проснувшись, вдруг поняла: она не видит, что на той карточке, которую держит сейчас в руке. Но память, секунду назад находясь за рамками сознания настоящего, лучше, чем яркий свет, освещала ей... Елене Юрьевне стало страшно. Скорее нащарила кнопку, включила стоящий возле дивана торшер.

– Наталья, который час?

– Гм... Начало пятого, – торопливо проглотив недожеванный кусок, ответила племянница.

Елена Юрьевна поморщилась, посмотрела на окно. Полоска между шторами сделалась черно-синей. Вот и вечер. Бесконечный декабрьский вечер. Как и тогда... Они сидели в этой же комнате, на этом же диване. Было зябко, мать закутала дочерей и себя в толстый плед и перебирала фотографии. В основном эти же самые фотографии. И мама подолгу рассказывала о каждой целую историю. О своих родных, о родных отца, о друзьях, об однокашниках. И в такой же вечер отец принес завернутый в тряпку жестяной ящик с халвой. «Еще та, – похвалился он. – Наша!» Каким-то чудом добытая... Под промасленной бумагой – темно-серая, твердая масса, пропитанная клейкой жарой, расплавленным солнцем... Ели ее, прогоркло-сладкую, с черным, похожим на глину, хлебом запивали теплой водой...

– Елена Юрь... – Племянница кашлянула, поправилась: – Тетя Лена... Сегодня в театре Акимова «Зойкина квартира» идет. Гм-м... вы не будете против, если я сбегаю?

Старуха перевернула фотокарточку изображением вниз; она испугалась неожиданному появлению перед ней человека, нарушившего воспоминания. Несколько секунд смотрела на Наталью, не понимая, что нужно ей. Наконец очнулась, кивнула утвердительно и в то же время с укором.

– Иди, иди погуляй.

– Я не гулять, я в театр...

– Иди, иди...

– Я суп разогрела, тетя Лена, вам нужно поесть.

– Иди, не хочу пока.

Старуха чувствовала, что если Наталья скажет еще что-нибудь, снова подступят рыдания, вырвутся горькие, обидные слова. И девушка, кажется, тоже поняла это и потому промолчала. Прошла в свой угол, стала переодеваться. Елена Юрьевна старалась не видеть этого, не слышать шелеста одежды, она смотрела на стопку выложенных из ящика фотографий... Конечно, им в одной комнате тесно и неудобно, они мешают, стесняют друг друга. Вторая комната заперта.

Она заперта уже много лет, это комната сына. Там все как было при нем. Его одежда, его вещи ждут его. Елена Юрьевна когда-то была уверена, что он вернется, ждала, а позже вера сменилась окаменевшей памятью, суеверной святостью комнаты, его комнаты... Сначала она каждую субботу делала там уборку, вытирала пыль, мыла полы, меняла постельное белье, теперь же, последние годы, даже не заходит туда. Ключ держит в шкатулке, на самом дне. «Вот умру, пусть что хотят тогда, то и делают. А пока что... пока я жива... Это Колина комната».

Старуха стала торопливо перебирать карточки, искала одну из тех, где был сфотографирован сын. Вот – после защиты диплома, его курс на крыльце университета. Шестидесят девятый год. Июнь. Коле двадцать три... Через месяц он уедет по распределению в северную Якутию (сам напросился) и пропадет... Молодой, красивый парень с юношеской бородкой. Гордость курса, умница, любимец преподавателей. И уже скоро по телефону незнакомый голос чужого человека будет вымученно объяснять: «...Тайга большая, ищем... Не волнуйтесь, пожалуйста, Елена Юрьевна, найдем. Всех на ноги поставили... Вертолеты по метрам прочесывают...» Пропала геологическая экспедиция, восемь человек, словно и не было. И в их числе Коля... Ни живых не нашли, ни мертвых, поэтому и хранила Елена Юрьевна в глубине души ожидание, надежду, до сих пор теплится малая искорка, и погаснет лишь вместе с нею, с концом ее жизни.

Подняла глаза от фотографии, обвела взглядом комнату, просыпаясь от мыслей. Болью укололо: племянница подтягивает колготки, безобразно и откровенно растопырив крепкие, стройные ноги.

– Что с вами, Елена Юрь... тетя Лена? – услышала сдавленный стон Наталья, обернулась к ней, проворно опустила, оправила юбку. – Я могу не ходить, если вам нехорошо.

– М... мне хорошо, – горько отозвалась старуха. – Собралась – иди.

– Вы поешьте, там суп горячий. Налить?

Елена Юрьевна перевела взгляд на стеллажи, смотрела на ровно стоящие книги, но не видела их, просто ждала, когда племянница выйдет, оставит ее в покое. Дышать было трудно, в горле застрял твердый, душащий комок, обида и раздражение росли... Эта девица как в наказание послана ей. Порхает бабочкой над разлагающимся, но живым еще телом, морщится, а улететь не может, – от этого зловонного, страшного тела ей польза. Вот закопают когда, станет она здесь хозяйкой... Елена Юрьевна вспомнила, каких усилий стоило прописать племянницу, как ходили они по учреждениям, оформляли документы, собирали справки; на это, кажется, ушли ее последние силы.

– Ну, я пойду? – несмело спросила Наталья.

Старуха повернула голову, проползла по девушке цепким, жадным взглядом. «Накрасилась, – отметила с отвращением. – Зачем в таком возрасте краситься? Только себя уродуют... И юбка-то, только что трусов не видно...»

– Сказала же... Что по десять раз спрашивать? Иди, конечно.

– А вы?..

– Я так посижу.

– Вы... вы бы поели все-таки.

– Наталья! – на секунду голос старухи стал звонким, грозно-предупреждающим, каким бывал когда-то, и после одного слова вновь сошел на задышающийся, надсадный хрип: – Поем... когда проголодаюсь.

Девушка мотнула головой, развернулась, направилась в коридор. С содроганием и манящим интересом шупала глазами ее фигуру Елена Юрьевна. Хотелось бросить вслед что-нибудь грубое... «Ступай, убирайся вовсе! Собирай вещи и убирайся! Ничего. Как-нибудь одна, лучше одна...» Но остановило вдруг появившееся яркое воспоминание – как будто сел в кресло у противоположной стены дряхлый, ссохшийся старичок-еврей, сосед из сто восьмой квартиры, а она – она вдруг снова юная девушка, моложе теперешней Натальи... Как же звали его?.. Зильберман фамилия... Витольд, да – Витольд Маркович Зильберман... Он часто заходил к ним, подолгу сидел, попивая чай, громко причмокивая обвисшими толстыми губами. «Тяжело стареть, Леночка, – однажды сказал ни с того ни с сего. – Тяжело... Этому надо учиться с молодых лет. – Вздохнул, повторил: – С молодых лет, Леночка, запомните...» Тогда она не поняла его слов; Зильберман был для нее древней реликвией, последним из могикан знакомого ей по книгам поколения, интересного, полумифического прошлого. Для нее, сейчас находя-

щейся в таком же положении, как тогда Зильберман, он казался благодушным, хотя и уставшим, больным, но удовлетворенным человеком, спокойно подходящим к финалу своей длинной, полной событий жизни. И естественно, что тогда тех слов она не заметила, и лишь сейчас они всплыли, вспыхнули, и отравленным дыханием пахнули ей в сердце. «Тяжело стареть... этому надо учиться... с молодых лет», – прошептала Елена Юрьевна, провожая растворяющийся призрак старика соседа.

Пискнула, ударилась дверь о косяк, потом снова пискнула – и щелчок замка. Ушла... И с уходом Натальи словно посвежело в квартире, словно посветлела и расширилась она. Елене Юрьевне стало легче, захотелось встать, походить, подвигаться.

По одной, но достаточно быстро сложила фотографии обратно в ящик. «А почему никогда не пробовала ни мама, ни я сделать альбом? – подумалось неожиданно. – Почему карточки хранятся так, стопкой, а не в альбоме?» И представила, как бы смотрелись они на страницах альбома, аккуратно, по хронологии распределенные. Нет, совсем не то. Когда перебираешь их, каждую чувствуешь в руках, читаешь написанные на обороте строчки пожеланий, даты, названия городов, роднее и ближе становятся они, а на страницах – похожи на картины под стеклом.... Нет, не надо альбома, порядка, обманчивой аккуратности, – там, в памяти, все упорядоченно и свежо, а фотографии лишь помогают расцветить поблекшие подробности прошлого.

По привычке болезненно кряхтнув, Елена Юрьевна поднялась с дивана, тяжело ступая отекающими, негнущимися ногами, прошла по комнате. Отодвинула край шторы. В мутно-сырой тьме наступающей ночи сначала увидела она свое лицо, и в первый момент ужаснулась, – ей показалось, что чужая злая старуха подсматривает и колдует. Перекошенное на стекле, измятое морщинами, словно шрамами, лицо; маленькие, в обрамлении складок кожи глаза смотрят пристально и тревожно – следят. Тонкие бескровные губы подрагивают, еле заметно шевелятся, будто стараясь что-то сказать... Некогда тугой, красивый подбородок заострился, ясно видны на нем частые толстые волосинки. Жидкие седые клочки на голове – остатки ее пышных когда-то волос... Хотелось опустить штору, отвернуть взгляд, но она смотрела, как замороженная, изучала теперешнюю себя... Наконец взгляд прорвал отражение, уперся в стену и окна напротив, совсем рядом. Над ними клочок чернильного неба. Внизу тесный дворик – кое-как умещаются пяток гаражей-ракушек, три мусорных контейнера; у самой стены, цепляясь худыми ветками за водосточную трубу, тянется вверх кривое и хилое деревце с ободранной, изрезанной корой. Оно очень старое, но выглядит недоразвитым, рахитным подростком; летом на нем появляются десятка два маленьких бледных листочков...

В одном из окон четвертого этажа сидит на подоконнике девочка или девушка, а может быть, взрослая женщина, – не разобрать. За ее спиной такой же рассеянный, неверный свет настольной лампы, и силуэт сидящей на подоконнике темный, не видно, куда смотрит она. Не исключено, что и сюда, на Елену Юрьевну... Еще одна!.. Еще одна наблюдает, ждет... И леденящей волной побежали по телу быstroногие мурашки ужаса... Дни, годы, жизнь. Окна, следящие, молчаливые окна. Дворик, дом, квартира. Все ждут... Старуха бешено пролетела над прожитым, какую-то малую секунду, миг, и с отчетливой ясностью поняла: ничего-то действительно счастливого не случилось, даже редкое, блеклое счастье неизбежно оборачивалось вскоре бедой. Ожидалось все лучшее, ожидалось, а не приходило; и уже само ожидание казалось счастливым временем, когда схватывали цепкие объятия испытаний и горя. «Нет, нет, что это я! – испугалась старуха. – Нет, нельзя так. Все было... была жизнь!..»

Она опустила штору, та с тяжелым шелестом, почти со скрипом распрямилась, заслонила окно... Прошла по комнате, трудно двигая непослушные одеревенелые ноги... Вот как-то в детстве пробовала ходить на ходулях. Смеялась, падала, запинаясь... Бросила в конце концов ходули и побежала по траве, подпрыгивая, срывая цветочки, ничего не боясь... Дыхание потеплялось, комок боли подскочил к горлу. Елена Юрьевна накапала корвалол, разбавила водой. Жадно выпила.

* * *

Долго и тщательно она собиралась. Куталась в старые, пропахшие лекарством одежды. Кое-как сумела сунуть ноги в высокие серые валенки, стянутые потрескавшимися калошами. Калоши так давно сидели на валенках, что, казалось, прикипели к ним; года три назад Елена Юрьевна пыталась их снять, чтобы просушить обувь, – не получилось.

Выйти одной, без помощи, на улицу было рискованно, она боялась, что оступится на темной лестнице, поскользнется, упадет, а подняться самой вряд ли получится. Но что-то толкало ее из квартиры, непреодолимо хотелось почувствовать снег, увидеть широкую панораму города, переливы огней в холодной, беспокойной Неве... С ранней осени она не покидала квартиру; тогда вместе с Натальей ходила оформлять документы на прописку племянницы. И в те дни совсем не обращала внимания на город, некогда было постоять, осмотреться, торопилась дойти от одного порога до другого... Теперь же, сейчас город позвал ее. «Может быть, этой ночью... всё... и так и не... и не попрощаюсь», – рвано, как говорила, думала сейчас старуха.

Осторожно, щупая каждую ступеньку крепкой старинной тростью, с которой, наверное, в молодости прогуливался по проспекту отец, Елена Юрьевна спускалась по лестнице. Правая рука хваталась за спасительные перила. В грязных окнах парадного – слабый, разряженный свет других, освещенных, окон, выходящих во двор... Ступенька за ступенькой, ниже, ниже, все ближе к свежести открытого воздуха, живительному холодку зимнего вечера. Надо только быть осторожней, главное – не упасть. Упадешь – уже не поднимешься.

И вот кончился последний пролет. Старуха толкнула скрипучую, на растянутой ржавой пружине дверь, потом вторую. Постояла на крыльце, привыкая к обилию воздуха. Какой чистый он, глубокий!.. Голова закружилась было, земля поплыла, но это лишь на минуту. Придышалась... Так, надо дальше. Пошла к арке, налегая на трость, выискивая ее концом место для следующего шага. Со всех сторон смотрели желтые беспощадные глаза окон. Если сейчас упадет, они так же спокойно будут наблюдать, как трепыхается она, пытаясь подняться. Не позовут на помощь, не удивятся, не помогут. Когда надоест, просто зажмутся – погаснет в них свет. Уснут.

Этот дом занимает целый квартал. С трех сторон окружают улицы, а с четвертой, впрочем, тоже через проезжую часть – Нева. Форма у дома причудливая и сложная, внутри него несколько маленьких слепых двориков, есть даже подобие сквера в центральном, с дюжиной чахлах деревьев, стволы которых позеленелые от вечной сырости; в скверике полуразрушенный фонтан в виде вазы; на дне вазы скапливается дождевая вода, она прокисает, и по двору стелется удушливый, отравленный запах гнилья. Штукатурка со стен давно отвалилась, теперь постепенно размокают кирпичи... С лицевой стороны дом еще сохраняет относительно благополучный вид, а издалека и вовсе напоминает дворец, где живут состоятельные, счастливые люди. Как же: вот, в двух шагах, набережная Невы, Стрелка, самый центр прекрасного города; многие завидуют, мечтают здесь поселиться.

«Только... только не упасть. Не упасть!» Особенно страшно в черных тоннелях арок, при каждом шаге ожидаешь лед под калошей, выбоину в асфальте; каждый новый шаг сулит возможность падения... Все ясней слышится слякотный шум проезжающих по раскисшему снегу машин; вот прозвенел трамвай... Немного еще пройти, не упасть, а там и улица, фонари, жизнь, люди...

Бухнула открываемая пинком дверь, во двор вывалился человек, тут же громко отхаркнулся и сплюнул; следом за ним появился еще один.

– Ну и куда тут идти? – расстроено спросил первый.

– Налево вроде.

– Как в чулане, бляха-муха!..

– Пошли, возьмем счас...

– Да, надо. А им, бля... – Человек задрал голову и посмотрел на окна. – А им отрыгнется еще! С-суки!

– Хорэ. Сам начал первый...

– Ну, вякнул херню. Что теперь, гнать, что ли, сразу?

– Хрен с ними. Пошли, кафешка тут есть надалече. Там посидим.

– Давай, надо...

И они торопливо пошли по двору, их шаги гулко ударялись в стены, в потолок арки. Казалось, это шагали не люди, а великаны... Елена Юрьевна отлепилась от стены (как только выскочил из парадного первый, она прижалась к сырому, холодному кирпичу, замерла), потихоньку продолжила путь.

Было довольно тепло. Старуха омывалась потом, выступившим из-за волнения и непривычных теперь движений, долгой ходьбы; подташнивало, то ли от усталости, то ли от застоявшегося запаха во дворах. С крыши вяло капало, капли ударялись о проржавевшие до дыр навесы над входами, долбили бетон панелей.

Последний дворик, последняя арка. Впереди полукружье света, силуэты торопливых прохожих, мелькание автомобилей. На противоположной стороне улицы бегут по кругу разноцветные огоньки в витрине дорогого магазина... Не выходя из арки, в двух шагах от тротуара старуха остановилась. Решила передохнуть. Обе руки ее сжимали трость, ноги расставлены, туловище согнуто... Сейчас суeta улицы подхватит ее, затормошит, вместе со всеми, бессознательно заразившись, придется торопиться, ускорять шаг, следить, чтоб не столкнуться с идущим навстречу или вынырнувшим из подворотни, опасаться машин. Тротуар очень уж узок – несколько лет назад проезжую часть расширяли, прибавили еще по полосе для автомобилей с обеих сторон за счет тротуара.

«Надо идти... Немножко, до набережной хоть... и назад...» Старуха собралась с силами, качнулась и пошла.

Вдоль по улице дул ровный, несильный, но заметный ветер. Так же ровно шумела уличная жизнь, словно работал хорошо настроенный безотказный станок... Елена Юрьевна помнит ее разной, эту улицу. Цокот копыт извозчицких лошадей по булыжникам мостовой (теперь булыжники остались лишь вокруг трамвайных рельсов) и трамвай – пугающую, неповоротливую громадину... Длинные черные авто, на которые засматривались прохожие... Помнит мертвую пустоту ее, как русло высохшей реки, тишину, и редкие тени людей только усиливали ужас зловещей работы смерти, съедавшей в те дни жизни неутомимо и безостановочно. Помнит она улицу на летнем рассвете: поливальные машины сбивали пыль с новенького асфальта струями веселой воды, и молодые парочки, не сторонясь этих струй, бежали к Неве... Память, память... Самое страшное, что одна лишь она, память, осталась в старухе, память пережила тело, пропитала непосильные, кажется, пласты времени, не растеряла остроты и яркости. Говорят, что память у стариков мутнеет, блекнет, воспоминания путаются. Почему же у нее иначе? Почему она все помнит, и чем ближе к смерти, к бесчувствию, мраку, тем отчетливее становятся картины воспоминаний.

И вот – как бы наяву – появился перед глазами календарь. Отрывной, уже использованный, со скрепленными жестяным зажимом, криво оборванными клочками; и последний лист почти оборван, висит на тонкой полоске, а рядом горка измятых, полуистлевших, ненужных листочков – пережитых, опавших лет; и в итоге – ничего. Ничего, что бы осталось непоколебимо важным, отрадным, осилившим смерть. Ни профессия не дала ей настоящего удовлетворения (были задатки к научной работе, но не сложилось, стала готовить для научной работы других; из многих сотен студентов никто не стал тем, на кого, по большому счету, учился), ни принципы, которых старалась держаться. Сын Коля... муж... Их обоих отобрала смерть,

слишком рано отобрала... Почему оставила ее? Зачем она? Зачем жизнь довела ее до такого предела... жизни? Это хуже смерти.

Елена Юрьевна, ослепнув, окаменев стояла посреди тротуара, с трудом проталкивая в себя воздух, хватала его жадным ртом и не могла надышаться, – казалось, в нем совсем нет кислорода, и вдыхает она пустоту.

– Извините! – услышала торопливо-досадливое над ухом и потом уже ощутила толчок, за который прохожий просил на ходу извинения.

Очнулась было, приготовилась идти дальше, но увидела себя со стороны. Вот стоит сгорбленная, закутанная в изношенную одежку, вцепившись в палку, как в последнюю спасительную опору. Дряблые лохмотья щек жалко дрожат, губы шевелятся: беззвучно жалуется она равнодушию. На голове коричневый шерстяной платок, перетянутый крестом через грудь, завязанный на спине; очки в громоздкой оправе еще более уродуют и без того изуродованное старостью лицо. «Но... но откуда на мне этот платок... и очки?!» Елена Юрьевна никогда не носила очков, зрение у нее сохранилось на удивление хорошее, а такие платки, так перевязанные, вызывали в ней воспоминание о самом страшном времени, когда смерть равно и обильно косила детей, и стариков, и молодых женщин, и сильных мужчин. Почему-то все люди тогда были в таких платках, завязанных на спине, наверное, пытались удержать драгоценные крупы тепла своих тел, не выпустить жизнь...

«Я?.. Нет! Нет, не я это, не я!..» – Елена Юрьевна делала отчаянные усилия прийти в себя, возвратиться в реальность, отогнать видения, воспоминания. Ведь вот она, на тротуаре, она просто вышла подышать, прогуляться перед сном; когда-то она каждый вечер совершала прогулки по набережной. Позади были насыщенные работой, событиями (важными, как ей казалось в то время), неизбежными, конечно, проблемами дни. Но усталость пропадала, стоило постоять у Невы, послушать размеренные удары беспокойной воды о гранит, увидеть на противоположном берегу Зимний дворец, Адмиралтейство; посидеть на скамейке на Стрелке, рассматривая в сотый раз шпиц Петропавловского собора. И она возвращалась домой отдохнувшей, с жадной скорей встретить новый день, погрузиться в него со всеми его делами, событиями, проблемами. Она всегда хотела жить, в самые тяжелые минуты хотела жить дальше, дальше, не теряла надежды и веры в завтрашний день. А теперь? Что теперь? Теперь цепкие, ледяные пальцы смерти без опаски ощупывают ее, примериваются, чтобы покрепче схватить, пережать горло и потащить в черную пустоту, в никуда. «Идти, идти дальше!» – замотала головой, словно отбиваясь, старуха. И с первым же шагом шум улицы вернулся, и грохотанье, движение ожили, ветер пихнул ее в спину, подталкивая вперед.

Нет, не кошмарное видение, не призрак, хотя и похоже на то. Не себя это видит она. Идет ей навстречу, так же нетвердо, согнувшись, тяжело опираясь на палку, другая старуха. И на ней этот зловеющий платок, ее лицо уродуют очки в громоздкой черной оправе.

Тяжело, медленно приближались они, будто два неизлечимо больных шли по узкому коридору, каждый на свои бесполезные процедуры. И с ненавистью смотрела одна на другую, видя одна в другой свое отражение. Огромные, из-за мощных увеличивающих стекол, глаза кусали Елену Юрьевну, вгрызались в нее выцветшими, разжиженными зрачками, как беззубые десны издыхающей злобной собаки. А по краю стекол бежали бодро отраженные огоньки автомобильных фар... «Жива еще? Ну, живи, если можешь. Може-ешь... Дай бог тебе подольше... подольше так... Ковыляй!» – «Да и ты не лучше. Не лучше! И тебе тоже... чтоб все пройти, до конца...» – отвечала Елена Юрьевна.

Это было пятьдесят... Да, пятьдесят шесть лет назад. Тогда нужны были мужчины, крепкие, молодые мужчины. Способные работать. А главная работа была – убивать. Требовались всё новые и новые, еще и еще, война стояла в пригородах, там, где теперь уже новостройки... Елена Юрьевна была членом медицинской комиссии райвоенкомата. Каждый день приходили сотни подростков, почти стариков, язвенников, калек, они хотели на фронт добровольно, они

оббивали двери всевозможных начальников, писали просьбы, дежурили у военкомата, поджидая Елену Юрьевну, умоляли ее подписать бумаги, что годны. И приходили сотни других, тоже с просьбами, документами, – просили об обратном... У этой старухи муж был из числа вторых. Большое сердце, недавний приступ, вот все документы, справки... Елена Юрьевна категорически стояла за его годность, тем более что был он ее сослуживцем по университету, аспирантом, как и она, и вдобавок они были соседями, жили в одном доме... А с ней, с этой старухой в платке, в нелепых очках, Елена Юрьевна и сейчас живет рядом – разделяет их одна темная арка...

Елена Юрьевна остановилась, обернулась. Как же его фамилия? Их фамилия? Кажется, эта живет с тех пор одиночкой... Как же?... Максимовы? Да, да, Сева Максимов.

Его призвали. Максимовы до последнего умоляли Елену Юрьевну, других членов комиссии – не помогло. И... Нет, она не раскаивается, не жалеет... И в последний день перед отправкой – не на фронт даже, а на фельдшерские курсы – у Максимова случился инфаркт. Смерть... Елена Юрьевна хорошо помнит свою реакцию: поморщилась, в голове стукнуло презрительно-брезгливое: «Умер от страха»... С тех пор обе женщины, встречаясь, вот так вот кусают взглядом друг друга. Год за годом, встреча за встречей. Однажды, когда Елена Юрьевна гуляла с маленьким сыном по набережной, подбежала Максимова. Почти девочка, но с обезображенным горем и обидой лицом, с растрепанными, прядями поседевшими волосами. «Гуляете? Сынок? У-у, хорошенький! Все у вас хорошо? – Она была похожа на сумасшедшую, на ведьму на костре. – Муж, сынок... Не-ет, не будет этого, нельзя, чтобы так! Увидишь, – Максимова грозила Елене Юрьевне пальцем, – увидишь, все увидишь! Он не допустит... Нельзя, чтобы все у тебя так. Нельзя-а!» И вот давно обе потеряли близких, родных людей, остались одни. Давно остались одни. Во всем огромном доме в триста с лишним квартир нет никого, кто бы помнил те события, то страшное время. Только две эти старухи, и они до последней минуты сознания будут носить в себе боль, ненависть друг к другу, колющую их столько лет. Для одной тогда, в ее юности, на заре, со смертью мужа закончилась жизнь, дальше – лишь однообразно темный коридор, длинный и душный, конец которому близок; на другую лег тогда грех, в котором она до сих пор не хочет признаться себе, но следы которого, расплата за который пятнили все ее дальнейшее существование.

До набережной теперь так далеко, даже не верится, что некогда она и не замечала, как, выйдя из парадного, оказывалась у Невы. Через дорогу, отделяющую ее от набережной, Елена Юрьевна переходить не решилась, – светофор, казалось, слишком быстро менял цвета, автомобили так и норовили сразу, с первым мгновением появления зеленого, рвануться с места. Просить же кого-нибудь, чтоб помогли, Елена Юрьевна не хотела. Она никогда не просила о помощи.

Прислонилась спиной к железной мачте светофора и смотрела вдаль, на огни родного, но так и оставшегося полужнакомым города, на каменные, тяжелые силуэты зданий, на низкое черное небо, где, то заслоняемые быстро бегущими белесыми кусками туч, то ярко вспыхивая, висели большие редкие звезды. Смотрела и не могла насмотреться, дышала и не могла насытиться свежим, чуть солоноватым, с примесью бензиновой гари и грядущей весны воздухом; в голове стучало мягко, с безысходным спокойствием: «Больше я этого не увижу... не увижу... Больше так не постою, не подышу... Последний раз». И страха не было, только желание запомнить увиденное, сохранить, сберечь запах воздуха, такой вдруг странно-дорогой, новый, словно бы первый раз она вдыхала его... Но для чего? Там ведь уже все – там все равно, пустая тьма, там ничего...

Усталость быстро высасывала силы, сдавливала тело. Елена Юрьевна развернулась и побрела обратно. Ноги гудели, и приподнимать их становилось все труднее, сердце трепетало, будто схваченное в кулак, из горла при каждом вдохе и выдохе летел пронзительный, жалкий свист. Стертые подошвы калош скользили по слякотной кашеце снега. Трость с силой упира-

лась в асфальт, после каждого шага отрывалась от него, двигалась вперед на несколько сантиметров и снова втыкалась в асфальт, и на ее рукоять прилегалась всей тяжестью Елена Юрьевна... Очень хотелось пить, губы горели, теперь одна мысль всецело заполнила голову: «Скорей бы домой... Домой, прилечь...»

...Упала она, не дойдя чуть-чуть, каких-то десятка шагов до парадного. Упала на живот, в последний момент успела подставить руку, защитить лицо. «Вот и все, – вздохнул кто-то страшный, но желанный, удовлетворенно и уверенно возвышаясь над нею. «Да», – спокойно согласилась старуха. Ей казалось, что сырой камень над ней стал мягким и теплым, как перина на ее диване, а рука в шерстяной перчатке – подушка... Усыпляюще постукивали капли о жесть, из-за заклеенного окна глухо доносился однообразный долбеж современной мелодии; грустно мяукала кошка, сидя на краю контейнера.... Старуха ждала. Сейчас, сейчас поплывет, почернеет. И остановится навсегда. «Вот и все, вот и все, – повторяла она, и ждала, и жалела себя. – Как брошенная собака... больная издыхающая собака у дверей...» И хотелось ей умереть именно так и чтобы вот здесь нашли ее соседи. Окоченевшую, мокрую, грязную. В темном дворе, возле контейнеров с гниющими отбросами. Ее будут жалеть, говорить о ней, обсуждать ее страшный конец... Можно лечь удобнее, перевернуться на бок, она чувствовала, что в силах сделать это, но такое положение, лицом вниз, казалось ей более страшным. Лучше, если найдут такой... Бесконечно долбилась в стекла скупая мелодия, кошка все так же одиноко и жалобно плакала, звала кого-то; Елена Юрьевна почувствовала, что начинает дремать. Толчками, дальше и дальше, повели ее в сон. Старуха уверяла себя, что это тянет ее в свое логово смерть. Она с радостью следила, торопила, каждую секунду с замиранием сердца ожидая, когда провалится окончательно, освободится, отмучается...

– Ой, господи! – камнем ударил по ушам испуганный голос, и крепкие руки опасно, осторожно потянули вверх. – Елена Юрьевна... Боже мой!

Старуха не отзывалась, она большим тяжелым мешком качалась от толчков, с интересом парализованного наблюдая, что с ней сделают.

– Тетя Лена, вы жи?.. Тетя Лена! Кто-нибудь! – трепетал испуганно сухой, растерянный голос племянницы. – Что делать-то?!

«Вот, возвращалась со спектакля... или еще откуда там, и – вот. Неудобство ей доставляю. У них теперь это называется – напруги, – со злорадной ухмылкой думала Елена Юрьевна. – Пусть... пусть понапрягается... Заслужить надо, а не по театрам бегать. Подожди, подохну, тогда и бегай...»

Девушка пыталась приподнять старуху, но страх отгонял ее от безвольного, размякшего тела. Поняв, что одной не справиться, она побежала в парадное. Хлестанула дверь, отозвалась ей другая, застучали по ступеням каблук сапог.

«Ушла», – уверенно сказала себе старуха, стала потихоньку подниматься. Сначала перевернулась на левый бок, нащупала трость. Подтянула ноги к животу и встала на карачки. Отдохнув маленько – на колени.

– Ох, слава богу, тетя Лена! – появилась запыхавшаяся племянница, бросилась помогать тетке. – Живы...

– Оставь! – прошипела та, сбрасывая руки девушки с пояса; сама, при помощи трости, со стоном и хрипом, поднялась.

* * *

– Собирай вещи, Наталья. Не могу я так больше. Уезжай. Завтра пойдешь с утра в ЖЭК, возьми с собой все книжки. За все заплачено? И за свет? Все, и подавай на выписку. Не могу я...

Елена Юрьевна, измазанная грязной талой водой, в мокром пальто и валенках, сидела на диване. Племянница стояла перед ней, глядя в пол, послушно кивала. Вид у нее был, как будто она давно ожидала этого. Что тетка в конце концов прогонит...

– Я думала, ты действительно... – продолжала, задыхаясь, старуха, – а тебе лишь бы... Не хочешь, так вот порог – езжай домой. Лучше уж я одна, чем так...

Хотелось не помнить, что Наталья два с лишним месяца была почти неотступно рядом, стерегла каждое ее движение; за все время выходила только в магазин за продуктами, раза три была в Эрмитаже. Но это помнилось... Как девушка купала ее, кормила с ложечки, когда старухе бывало особенно худо, стирала белье, убирала квартиру... Елена Юрьевна давила в себе эти встающие против воли воспоминания, для нее была важнее сейчас обида, даже не на племянницу, а на всё, на всю прошедшую, заканчивающуюся, но никак не могущую закончиться жизнь. Обида на жизнь – смутно мелькнувшую, манящую, непонятную и интересную, как мельком прочитанная, сложная, но прекрасная, кажется, книга. И снова не открыть ее на первой странице и как следует, не спеша, ничего не пропуская, не перечитать. А Наталья, Наталья пусть простит. Она та, на ком можно излить хоть крупицу обиды, горечи, страха, досады. И девушка, терпеливо слушая тетку, кивая, по-настоящему не верила, что она может действительно выгнать ее. Когда старуха выговорила, Наталья примирительно сказала:

– Я пойду ванну наполню, вам помыться надо. Хорошо?

Елена Юрьевна, отвернувшись, слепо глядела на стеллажи, кивнула еле заметно. И попросила выходящую из комнаты племянницу:

– Наташ, не... не... потерпи. Скоро кончится. Потерпи, ладно? Ты меня поймешь... потом.

1999 г.

Володька

– Ну а у меня всё уж решилось, – сказал он и, чуть приподняв крупное, похожее на столб туловище, похлопал ладонью по одеялу, под которым должны были лежать ноги. – Теперь и бояться нечего.

...Меня привезли в больницу два дня назад с острыми болями в животе; боли случались и раньше, короткими приступами, но я не обращал внимания, а последний оказался таким, что пришлось вызывать «Скорую». Теперь вот лежал в ранге обследуемого, да еще радовался, только что перебравшись в четырехместную палату из коридора, поменяв низенькую продавленную раскладушку на высокую, мягко-тугую кровать у окна. А сосед мой, как он представился, Володька, хоть на вид ему за сорок, – теперь считается прооперированным.

Лицо пухловатое, голова большая, круглая. Светлые, слегка выющиеся волосы. Глядя на него невольно вспоминаются пупсы из «Детского мира», только у Володьки кожа не розовая и гладкая, а изрезанная морщинами, с вьёвшейся в поры чернотой загара и земли. Кисти рук широкие, с набрякшими венами...

В больнице как-то легко разговаривать о тяжелом; в другом бы месте, в другой ситуации я не решился бы узнать, из-за чего ему отняли обе ноги. Но завтра мне предстояла ломоскопия. Это – как я понял из скупого объяснения врача – в животе прорезают отверстие, накачивают человека, как шарик, а потом вводят в него что-то вроде маленькой камеры, и на экране все видно, что там внутри, какие есть патологии... Хоть, конечно, не ампутация, но тоже жутко, когда представишь. Ломоскопия... И благодаря этой жути, а может, для того, чтоб как-то ее притупить, заслонить другим, я спросил соседа про ноги.

– Ну как... Так, – вздохнул Володька и поморщился, словно кольнула его боль, провел ладонью по одеялу, погладил, побаюкал остатки ног под ним. – Сначала одна, потом вот вторая... Я комбайнером был, трактористом. Я из Сосновки, знаешь деревню такую? Туда, на юг, в сторону Монголии по тракту стоит... И у нас там опытное хозяйство было, теперь закрылось, года три как назад... Да нет, больше уже... Пшеницу там растили, овес, картошку, новые сорта испытывали. Ну, опытное хозяйство, одним словом. Большо-ое было...

Голос у Володьки низкий, тоже, как и хозяин, какой-то большой, но мягкий, и сейчас, когда Володька увлекся, отвлекся от мыслей о своей беде, кажется, что это здоровый, полный сил мужик на сон грядущий решил рассказать о дорогом. После трудного, но плодотворного дня... Мне даже лучше стало от его интонации, захотелось глаза прикрыть.

– Ну и вот приходилось, конечно, вкалывать хорошенько, и получали так, не в обиду. Хватало... А как получилось-то так... Хм-а-а... – Он снова поморщился, поправил одеяло, сгладил резкий, обрывистый склон там, где кончались обрубки. – Когда, брат, работаешь, пашешь, к примеру, то так намерзнешься... Как следует. Весна весной, а холодно же, и ты в кабине часами. И не чувствуешь их, ну, как ноги дубеют. Хвать, а они уже кочерыжки, до колен хоть шилом коли. Бывало, с трактора слезть не мог... Домой придешь вот так, как на ходулях, мать кипятком кирзачи отольет, тогда уж они слазят. И образовался этот... как его... – На несколько секунд Володька задумался, то ли боясь назвать вслух, то ли действительно подзабыв имя болезни. – Это... атеро... артериосклероз. Сужение сосудов, ломкость их – такое... Ну и вот сперва большой палец почернел на правой ноге, болел до этого долго. Но так болел – ныл, как вот зуб, бывает... И потом второй. Пошел к фельшеру нашему. Он и сказал про артеро... артериосклероз, сюда направление дал. Приехал. «Надо ступню отнимать», – говорят. Я говорю: «Как ступню? Пальцы же только болят». – «Нам лучше знать». Я не согласился, домой сбежал. Фельшер два пальца убрал... И, это... И несколько месяцев нормально всё было, и ходить ничего, прихрамывал, понятно, маленько, ноги ныли, но так... Работал там же. А потом опять, и уже ступня, и все хуже и хуже, ходить перестал. Фельшер опять сюда послал,

а здесь до колена отхватили без всяких. Усыпили – и вот... Н-ну, лет пять с одной ногой кантовался, деревяшку выстругал, на ней скакал. Так... Из хозяйства ушел, конечно, пенсию мне оформили, то-сё там... Ничего, думаю, теперь своим хозяйством займусь. Хотя и с одной ногой, но тоже можно. Да-а... Одна нога – чего же... Я и воду таскать приспособился, дрова колот, забор весь перебрал, даже, хе, грядки вскапывал... правда, неглубоко получалось... Но можно с одной ногой-то...

Он надолго замолчал, задумался. Наверное, представлял, вспоминал свою жизнь, когда была у него нога, и наверняка таким хорошим и светлым это время теперь представлялось... Лицо у него немного разгладилось...

– И вот, – очнулся, сразу же опять постарел, – потом то же самое со второй. Сперва зазудело, как клопы ее там, внутри, накусали... потом боли пошли, потом чернота. Опять фельшер пальцы оттяпнул, а теперь вот здесь уже заодно с этой сразу, чтобы протезы одинаковые делать... Да какие тут протезы уже, к чему? Один можно таскать, а как два-то?..

Он досадливо побряхтел и затих; смотрел в потолок. Во взгляде тоскливый, без надежды на ответ, вопрос.

– А родные есть у вас?

– Как же, конечно... Мать, семьдесят два года ей. Жена есть, сынишка, Славка. В шестой класс нынче пойдет. Хотели еще... дочку бы надо, да вот – эта беда. Какой из меня кормилец теперь-то... Один путь – в дом инвалидов ползти...

Я лежал в больнице почти месяц. У меня оказался аппендицит, но какой-то осложненный, и все время кололо почему-то слева. Сделали операцию. После нее вернули на ту же койку, рядом с Володькой. Больше он не рассказывал о своей болезни, мы перебрасывались обычными фразами, угощали друг друга вкусеньким из передач родных. Два раза к нему приезжала жена, такая же, как и он, крупная, с большими руками, толстыми ногами, широколицая, довольно еще молодая женщина. Я старался не слушать их разговоры, поскорей выходил на террасу, курил... Что их ожидает теперь? Ее – какое напряжение сил, а его – какие моральные, может быть на много-много лет, страдания... Как ни банально звучит, но – жизнь сломана. И ничего к лучшему уже не изменится. Никакой надежды. Всё, что случится более-менее хорошего впереди, всё будет омрачено, отравлено, всё будет нести на себе печать этой их беды. Сознание того, что он, глава их семьи, немощный калека.

– У нас плохо стало, – сказал однажды Володька, сказал с трудом, но твердо; видимо, долго перед тем размышлял и вот решился. – Да-а, плохо... Много людей из деревни поухало, русских уж почти никого не осталось. Старики в основном да пьяницы... И нам бы надо...

– Почему? – спросил я.

– Да как... Невозможно стало. Как в осаде живешь... Люди уезжают, юртошники заселяются, а у них свои правила: днем спит, а ночью шакалит... шерстит всё подряд. В-вот так... Здесь есть родня, в городе, но сами не в хоробах живут, а если в Сосновке и продашь дом, то за копейки совсем, тут и сарай дороже выйдет... Ох, не знаю, не знаю... Воруют – страшно. Да это и не воровство, а... Бандиты стали настоящие... – Он побряхтел, повернулся ко мне. – Свинью у нас тут по осени закололи. Она визжит, а выйти боишься: ткнут железкой – и готов. Несколько случаев таких уж было. А милиция – что есть она, что нету. Участковый тоже всего боится, сперва, когда только приехал, начал вроде наводить порядок, так ему тут же ворота сожгли. И – всё... Только эти, кочевники, на лошадях туда-сюда скачут, гикают... Ох-х, не знаю, не знаю... Раньше надо было, конечно, а как теперь-то... – И как бы оправдываясь, Володька стал объяснять: – Ну а как?.. Работал, кому-то же надо... Это вот теперь разбираться начал, что горько, что сладко. Поздно только... Нет, я не жалею, нравилось мне... Не видал никогда, как пахнут-то?

– По телевизору.

– У-у... Нет, это не то. Тут запах должен быть, воздух. Или... знаешь, хлеб когда по зерно потоку течет, заворачивает прямо, глаз не оторвать. Как, скажи, улетаешь. Приятно так становится, одним словом. Или вот, первым когда по вспашке идешь, на стане цветы в вазе у тебя стоят. Обедаешь, и они тут, перед глазами... Вроде и ничего такого, а хорошо так, думаешь, ради этого можно еще и не то сделать. Не из корысти, нет, а из-за отношения!.. Теперь не так как-то. Мне вот сорок два, не старый еще вообще-то, а как бы сейчас работал, даже не знаю. Не могу представить. Всё, понимаешь, изменилось как-то, люди другими стали совсем... причем как-то разом...

Особенно жарким днем Володьку вынесли из раскаленной палаты на террасу. Террасы находились в каждом корпусе – широкие открытые площадки со скамейками. Крышей служила терраса следующего этажа. Все больные, кому можно было передвигаться, проводили время на свежем воздухе, читали, курили, разговаривали, разглядывали окрестности больничного городка. Слева – за несколькими кварталами избушек – виднелась желтая, с уже иссушенной травой степь, хотя была только середина июня; дальше, грядами, все выше и выше, горы Саяны... Там, в той стороне, и Сосновка, родная Володькина деревня.

Прямо и справа – центр Кызыла, маленького, но столичного города. Как-никак, а центр автономной республики. Среди зелени тополей виднеются белые и красные пятиэтажки, несколько девятиэтажных домов, можно разглядеть и площадь с правительственными, мрамором облицованными дворцами и ярко-белым зданием театра; даже заметны блески воды, бьющей из фонтана.

Вокруг города, словно защита, стены – высокие и крутые хребты. Иногда они создают ощущение надежности и уюта, а иногда давят, и кажется, что ты в западне, в мешке. Для многих с недавних пор этот город сравним с западней...

Сюда приезжали в основном в пятидесятые – шестидесятые годы из центральных районов страны поднимать хозяйство и культуру отдаленной молодой республики, строили, учили, обживали, а теперь нужно как-то выбираться, подаваться обратно – теперь это уже почти отдельное государство, и коренной народ – потомки Чингисхана, как выяснили местные ученые, выпускники ЛГУ, НГУ, – всячески доказывает, что он здесь хозяин.

...Володька жадно смотрел вокруг, глубоко, шумно дышал горячим, налитым вяленой степной травой ветром. На лице радость оттого, что вынесли на террасу, что видит с шестого этажа так далеко вокруг, так сразу много. Но радость смешивалась с обидой, грустью, досадой. Ведь все это теперь не для него, это теперь лишь красивая картинка – можно любоваться сколько угодно, но быть там ему невозможно. Ему – бессильному, лишнему, отработавшему.

1998 г.

Там, где светится ночью окно

Пьеса в двух действиях

Президент, мужчина лет шестидесяти, плотный, высокий, неповоротливый.

Премьер, мужчина лет пятидесяти пяти, тоже достаточно плотный, подвижный, но неуклюжий.

Жена президента, лет под шестьдесят, располневшая, то смиренная, то крикливая и нервная.

Жена премьера, лет за пятьдесят, тоже располневшая, тоже то смиренная, то нервная, но не очень крикливая.

Теплицын, сухой долговязый старик с апостольской бородой, в русской народной одежде; возраст даже примерно определить невозможно.

Журавлев, коренастый, прямой и сдержанный мужчина в расцвете сил. Говорит металлическим басом без другого выражения, кроме твердости.

Марина, двадцать один год.

Вадим, чуть старше Марины.

Действие первое

Москва. Кремль. Кабинет президента, знакомый зрителю по фильмам о Великой Отечественной войне, по сценам с участием «Верховного». Та же громоздкая фанерная мебель, те же пыльно-белые, волнами, шторы на окнах. Серо и строго.

За письменным столом к стене прислонен триколор. На шкафу стоят бюсты Ленина, Маркса, лежат другие советские символы.

Вечер 15 июня 1996 года. Входит **президент**, устало бросает кожаную папку на стол, падает в кресло. Появляется **премьер**, останавливается перед президентом.

Президент. Теперь всё, надеюсь? Пусть будет что будет. Надоело уже, понимаешь. Я люблю этот кабинет, вид вон этот, э-э, из окна. А тут мотайся по всей России, на казенных, э-э, простынях ночуй. Воняет от них, понимаешь, этим... как его... Э-э?

Премьер. Хлоркой?

Президент. Во-во, понимаешь, хлоркой. *(Потягивается.)* Здесь хорошо. Это, Лёша, давайте-ка по маленькой... У? С устатку.

Премьер. Н-н, я думаю, можно. Рабочий день окончен, поездка была удачная.

Президент. Уверен?

Премьер. Хотелось бы верить. *(Отходит к шкафу, открывает.)* Что будем, Егор Егорович?

Президент. Любимую давай тащи, «Серебро Сибири». Хорошая, понимаешь, водка...

Премьер. М-да, неплохая. *(Приносит к столу бутылку и две рюмки.)* Как бы нам в серебре этом не сгинуть.

Президент. Не бойся, Лёша, еще повоюем! Капай, э-э, поскорей.

Премьер наполняет рюмки.

Ну, за удачу, понимаешь, и за победу!

Премьер. Да, Егор Егорович, проиграть нельзя!

Пьют.

Президент. Но не вздумай ничё там, э-э, фальсифицировать, Лёха! Как будет, так пусть и будет. А то скандалы опять, импичмент... Если что, мы потом им устроим. Второй же тур неизбежен. Во втором и дадим, понимаешь!

Премьер (*уныло*). Я тоже так думаю.

Президент. А ведь встречают-то как. Народ глазееет, чуть, э-э, не кланяется, а отвернешься – сразу дерьмом мажут. «Наш президент! Дорогой наш Егор Егорыч!» А стоит спиной повернуться (*показывает, как мажут*), понимаешь... Нар-род... Всё забыли! Ведь дал же свободу, все вон свободны, э-э, до предела. А что Чечня, так как же без нее, понимаешь? Зарплату не платят? А ты на нее живешь? Ну и дурак, если живешь! Предпринимательством надо жить – свобода же! А тут... Недовольные... (*Потягивается.*) Да вот хоть по Москве цифры: двадцать пять процентов живет, понимаешь, отлично, тридцать семь – хорошо. Ну а остальные... Везде есть, э-э, дураки, понимаешь. Даже в Америке.

Премьер. Вот эти дураки и отдадут голоса за (*кивает в сторону бюстов*)... за этих.

Президент. Я написал за последние две недели семьдесят семь, понимаешь, указов, направленных на поддержку, на погашение, на, э-э, компенсации. Это-то что-нибудь значит, а?

Премьер (*очень несмело*). Устали ждать...

Президент. А президент не устал? Президент у вас, э-э, железный? (*Пауза.*) Налей еще. (*Вздыхает ностальгически.*) Вот когда, понимаешь, в оппозиции был, легко было, «понимаешь» этого не было. И без него хорошо убеждал. А теперь, понимаешь... Тьфу. Давай хлопьем.

Премьер. Давайте, Егор Егорович.

Пьют.

Президент. Что там по взрыву?

Премьер. Никто не найден, но ищем. Польков заявление сделал и намекнул, что это дело рук (*кивает в сторону бюстов*) этих. Всё нормально.

Президент. Хорошо. (*Потягивается.*) Что-то еще сказать, э-э, хотел... Да, наши-то продули! Э?

Премьер. Итальянцам все-таки...

Президент. Итальянцам... А мы – россияне! И по рейтингу, понимаешь, наши футболисты только бразильцам и немцам уступать могут. И то... Сколько мы на подготовку, э-э, сборной ухлопали! На эти деньги кучу индексаций бы сделали, компенсаций, понимаешь, по вкладам. Если в полуфинал не войдут, Петровцева – в шею, из, э-э, тренеров. Указ напишу, понимаешь!

Премьер. Понимаю, Егор Егорович. Кстати, по каналу ФСБ сообщение, что Теплицын из своей Костромы сюда идет.

Президент. Чего?

Премьер. Уже пришел почти. Где-то сейчас в районе Мытищ. Разведка доложила: в лаптях, косоворотке этой, с котомкой и посохом. (*Хихикает.*) К президенту ему, видишь ли, надо. Поговорить.

Президент. Э-э... (*Наливает.*) Что ж – поговорим. Поговори-им. Совесть нации он ведь сейчас?

Премьер. Да. (*Как бы оправдываясь.*) Как же народу без совести... Один умер, сразу этот вернулся из эмиграции...

Президент. Угу, угу, поговорим. Ну, Леха, давай!

Пьют.

План, э-э, у меня кой-какой появился...

Премьер. Слушаю.

Президент. Думаю, я, понимаешь, Скворцова сменить.

Премьер (*изумленно*). Кем, Егор Егорович?

Президент. А кем, как думаешь?

Премьер напряженно думает.

Ладно, э-э, не гадай. Журавлевым!

Премьер. Гм... Он же в оппозиции, тем более вы его сами из армии... в отставку отправили.

Президент. Ну, верну. Генерал он популярный, и политик, понимаешь, тоже. На третьем месте, э-э, тянет, социологи говорят. Бронзовый, хе-хе, призер. (*Потягивается.*) А Скворцов надоел. Непопулярный он сильно. Мы, его, понимаешь, в НАТО отправим, наблюдателем. Пускай как раз (*смеется*) и поучит их там, как, э-э, воевать.

Премьер. Вам, конечно, Егор Егорович, решать, но... как это все устроить?

Президент. Да как? (*Наполняет рюмки.*) Завтра голоснем, понимаешь, а послезавтра, когда кой-чего прояснится, вызовем сюда Журавлева и предложим.

Премьер. Откажется.

Президент. Э, Алексей Федорыч, что ты! А Былкин отказался? Министр, понимаешь, без портфеля. (*Смеется.*) А тоже, э-э, как кричал. Я, мол, оппозиция! Сел вон, понимаешь, в министры и сразу заткнулся. И теперь вон сидит...

Премьер (*крутит рюмку в руках*). Да, вообще-то... конечно... можно попробовать...

Президент. Можно, Леха, все можно. На то мы и руководители. (*Потягивается.*) Ладно, это на послезавтра. Может, я и сразу пятьдесят с лишним процентов возьму, тогда оставим всё как есть. Этот план, понимаешь, на случай второго тура. И Журавлевым мы, э-э, часть голосов перетянем. Вот, дескать, глядите, Журавлев, понимаешь, в министрах теперь. Министр, э-э, обороны. Шас всё наладит! И те, кто за него голосовал, теперь за меня будут, по крайней мере половина, так как я и Журавлев вместе теперь – одна, понимаешь, команда. Ну как?

Премьер. Логично, Егор Егорович, и умно. (*Пауза.*) Кстати, совсем забыл: Семенов ранен.

Президент. Кто эт такой?

Премьер. Заместитель Полькова. Покушение. Выходил из машины, и тут...

Президент. Поймали?

Премьер. Нет пока...

Президент. А Польков намекнул?

Премьер. Конечно. Сразу заявил, что дело рук тех, кто хочет сорвать выборы, кто против реформ, движения вперед...

Президент. Хорошо. (*Потягивается.*) Хороший хоть заместитель?

Премьер. Польков убивается.

Президент. Да? Тогда, понимаешь, указ о награждении надо писать. Завтра с голосования, э-э, приду – сяду.

Премьер. Завтра же воскресенье.

Президент. И что? У президента нет выходных. Да, Леша (*прищуривается*), а ты за кого голоснешь?

Премьер. За вас, естественно, Егор Егорович.

Президент. А мне?.. Посоветуй, я, э-э, не определился еще.

Премьер. Ну-у, я не знаю...

Президент. За себя неудобно... Хотя, понимаешь, каждый голос, отданный за, э-э, демократию, – необходим.

Премьер. Необходим.

Президент (*поднимает рюмку*). За продолжение, понимаешь, курса реформ!

Премьер. За продолжение!

Пьют.

Президент. «Серебро Сибири»... Вот, Леша (*берет в руки бутылку*), где-то черт знает где, понимаешь, а умеют водку изготавливать. А? Вот и наша задача, задача, понимаешь, всех россиян, научиться всё делать хорошо и, э-э, добротно. Делать на совесть! Тогда и с Китая не повезут, рынок наполнится нашим, хорошего, э-э, качества, по низким, понимаешь, ценам, и наступит стабилизация. И только тогда, Леха, мы по-настоящему, понимаешь, на равных, войдем в мировое пространство.

Премьер. Да, да, Егор Егорович, правильно вы говорите. Вот бы каждый россиянин понял это...

Президент (*махнув рукой*). Долго еще не поймут, Леша, ой, понимаешь, долго. Воровать привыкли, тяп-ляпать привыкли, а, понимаешь, работать... Вот ты научись нефть в высококачественный бензин, э-э, переделывать, тогда я его на Запад погоню, а не сырец этот. Ты научись вон шкафы, понимаешь, делать, «Сникерсы» разные, «Вольвы», тогда я, э-э, границы прикрою, а пока – во! (*Делает выразительный жест.*) Свободные люди, понимаешь, должны, понимаешь, и есть вкусно, и ездить удобно. Водка вот появилась хорошая – и ее берут! Вот в Сибири я был, пили с Настасьевым. Нашу, э-э, российскую пили. «Абсолют» – не лезет, «Блэк», понимаешь, «дэт» – не лезет, потому как свою делать теперь научились!

Премьер. Да это-то всегда делать умели...

Входит жена президента.

Жена президента. Вот они, орёлики! И опять водку жрут!

Премьер (*с улыбочкой*). После рабочего дня, Рада Макаровна, не грех.

Жена президента. Не грех! Тебе-то ничё, а ему (*показывает на президента*) на люди опять завтра надо. Фотографы там, пресса...

Премьер (*слегка обидевшись*). И я тоже завтра пойду на люди.

Жена президента. У тебя рожа не опухает...

Президент. Ну, э-э, хорош! Ворвалась, понимаешь, как эта! «Серебро же Сибири» пьем!

Жена президента. Да хоть «Золото Колымы»! Марш спать, в самом деле! Голосовать завтра.

Президент. Дела еще, Рада, указы надо писать.

Жена президента. В понедельник напишешь. Давай-давай, шевелись.

Президент (*твердо*). Не пойду!

Жена президента. Вот щас я охрану вызову! (*Направляется к двери.*) Принудительно уложат...

Премьер. Не надо, Рада Макаровна. Через десять минут мы закончим. Мы обсуждаем тактику... понимаете...

Жена президента (*смотрит на часы*). Чтоб через семь минут этот (*показывает на президента*) был дома.

Премьер. Конечно-конечно, Рада Макаровна. Тут же два шага.

Жена президента уходит.

Президент. Кур-рва старая... Надоела, понимаешь, до чертиков. (*Наполняет рюмки.*) Знаешь, Леша, э-э, я тут, кажется, понимаешь, влюбился. Только, это, как другу!..

Премьер. Понимаю, Егор Егорович.

Президент. И в кого, думаешь? В дочку, э-э, ну этого... (*смеется*) Скворцова. В Марину евою.

Премьер. А?

Президент (*виновато пожимает плечами*). Так вот... понимаешь...

Премьер. И как же с его отставкой?

Президент. Это разные, э-э, вещи! Любовь – личное, понимаешь... А тут вопрос о России.

Премьер. И вы с ней, простите, Егор Егорович, у? Или – у?

Президент. Нет, как же можно! У меня же жена, понимаешь, дети, э-э, внуки. Как можно? Тем более – репутация президента... Но вот по утрам... Идет она утром по коридору в умывальник, шлепанцы, понимаешь, – чмок, чмок, и во мне всё, э-э, переворачивается так, понимаешь. С кровати тихо так соскочу, дверь так, э-э, приоткрою. А она уже далеко, а коридор-то длинный такой... Такая она, понимаешь, воздушная, э-э, милая, на Скворцова совсем не похожа. И тут жена еще (*морищится*) как всхрапнет, понимаешь... Эх, трудно, Леша, трудно, э-э, быть президентом... Давай просто выпьем!

Пьют.

Премьер. М-да, Егор Егорович...

Президент. Только никому, Леша! Понимаешь – государственная тайна. (*Пауза.*) Да и стыдно как-то... Хотя, знаешь, как вижу ее, Марину, чувствую, что, э-э, молодею, силы в меня, понимаешь, так и вливаются. Но ты не думай – президент понимает!.. Правда, вот подкладывали же молоденьких нашим генсекам, громыкам, и те ничего, долго жили, понимаешь, руководили. Может (*смеется*), и нам эту практику вспомнить? Указ (*смеется*) напишу.

Стук в дверь.

Войдите!

Входит жена премьера.

Жена премьера. Добрый вечер, Егор Егорович!

Президент. Добрый, добрый, Ангела Степанна. Э-э, присаживайтесь, остограйтесь, понимаешь!

Жена премьера. Спасибо, не хочется. Я за своим (*кивает на премьера*) премьерчиком. Можно забрать? Поздно уже, а завтра на участок с утра, потом в деревню собрались. Электрички-то бесплатные завтра.

Премьер. Как это бесплатные? Кто тебе чушь такую сказал?

Жена премьера. Да вот сказали... Пойдем. Можно, Егор Егорович?

Президент. Что ж, можно. У нас, понимаешь, свобода теперь... Мне тоже пора, уже вон и, э-э, жена прибежала, сердилась тут... А электрички я специальным указом бесплатными сделал. Пускай вздохнет народ. Ничего, не пообедем... Что у вас на ужин сегодня?

Жена премьера. Котлеты по-полтавски, картофельное пюре и салат овощной.

Президент (*вздыхает*). У нас, значит, то же. (*Поднимается, ставит в шкаф пустую бутылку, слышен звук соприкосновения с другими пустыми, извлекает полную.*) Вот вам, понимаешь, «Серебро Сибири». Выпейте за успех завтрашнего, э-э, волеизъявления. Чтоб,

понимаешь, в сторону реформ так и идти. Углублять, понимаешь, и расширять (*смеется*), как Миха, дружок, говорил... Хорошая водка, э-э, Анжела Степанна, честно!

Жена премьера (*принимает бутылку*). Спасибо от всей души, Егор Егорович, но ему сегодня больше ни капли. И так уже...

Премьер. Да ладно тебе...

Звонит телефон.

Президент (*снимает трубку*). Президент слушает! А-а, Федот Мартемьянович, здравствуйте! Уже, понимаешь, пришли?.. Конечно, конечно! Наша разведка не спит. (*Смеется. Зажимает трубку ладонью; серьезно.*) Теплицын пришел!

Премьер. Шустрый старик!

Президент. Просит принять, понимаешь, немедленно. (*В трубку.*) Ну, э-э, конечно, Федот Мартемьянович, нам есть о чем поговорить... Понимаю. Проходите... Ну, передайте ему трубку... Дежурный, президент говорит. Пропустите там совесть нации, понимаешь, но прозвоните хорошенько. Не дай бог что, понимаешь!.. Ага, ну всё. Отбой. (*Кладет трубку.*) Со Спасских ворот звонил. Щас, э-э, явится.

Жена премьера (*недовольно*). Еще, поди, и останется ночевать.

Президент. Ну а куда ему, на ночь-то глядя... Вон в задней комнате, э-э, постелим. Как раз, понимаешь, любимый его Иосиф Виссарионыч там (*смеется*) думать любил. (*Садится.*) Так-то, друзья: тяжело, понимаешь, быть президентом.

Премьер (*самоотверженно*). Мне остаться, Егор Егорович?

Президент. Да нет, Леша, иди, э-э, отдыхай... Или лучше так – через полчаса подходи, будто случайно. И скажешь, что, мол, устал президент, только черт-те откуда приехал... Уведешь, э-э, меня.

Премьер. Понял, Егор Егорович. (*Подталкивает жену к двери.*) Пошли скорей ужинать.

Премьер и его жена уходят.

Президент (*смотрит на часы*). Ни сну, ни, понимаешь, покою... Сейчас будет морали читать до утра. Совесть нации, едрить его!.. (*Встает, прохаживается по кабинету.*) А благодаря кому, спросить, он, э-э, совестью стал? У? Ну и гнил бы до сих пор в своей эмиграции. А теперь вот надо морали читать, в лаптях, понимаешь, ходить! Пупулист, понимаешь...

Стук в дверь.

Да!

Входит Теплицын.

А-а, Федот Мартемьянович! (*Идет навстречу; здороваются за руку.*) Ну, как здоровье? Как, понимаешь, творчество? Над чем работаете, коль не секрет?

Теплицын (*со вздохом садится*). Не работаю ныне совсем.

Президент (*тоже садится*). Э-э, а что так? России нужны, понимаешь, хорошие книжки.

Теплицын. Душа мечется, сердце болит... Даже статьи написать не могу. А ведь надо писать, надо слово свое сказать!

Президент. Надо, надо, Федот Мартемьянович! Особенно в такое, понимаешь, судьбоносное время. На вас ведь, э-э, вся Россия смотрит, совета вашего ждет, понимаешь, мнения.

Теплицын. Да... Россия... Терять я стал веру в нее и в народ ее.

Президент. Кхм... (*Встает, подходит к шкафу.*) Если уж вы, э-э, Федот Мартемьянович, веру теряете!.. (*Ставит на стол бутылку, рюмки.*) Ладно, сейчас вот хлопнем чутка, и всё, понимаешь, вернется! «Серебро Сибири», Федот Мартемьяныч! Отличная, э-э, водка! Вот где-то, черт знает где, ее делают, а отличная получается!

Теплицын. Не пью водки я... стар я уж для водки...

Президент (*наполняя рюмки*). Э, да какая старость! Вы же русский человек, Федот Мартемьяныч, а русские водочку в любом, понимаешь, возрасте не отвергают. Давайте вот за возрождение!

Теплицын. За возрождение?.. Что можно считать возрождением?

Президент (*с рюмкой в руке ходит по кабинету*). Возрождение, э-э, России, это, во-первых, не допустить к власти этих (*кивает на бюсты на шкафу*), во-вторых, не пустить, понимаешь, под откос наши реформы. Россия устала от потрясений, она не хочет, э-э, пятиться назад. Даже человеку это трудно, а тем более, понимаешь, целому государству.

Теплицын. Мы же про возрождение...

Президент. А это и есть, и есть возрождение! Э-э, сделать Россию снова великой державой! Сделать богатой, сильной, понимаешь, смело войти в мировое пространство! Выпьем же, Федот, э-э, Мартемьянович!

Теплицын. Сомневаюсь я...

Президент (*упавшим голосом*). В чем?

Теплицын. В реальности... в правильности курса... Плохо народу, Егор Егорович, очень плохо... Веришь, нет, а на грани он...

Входит жена президента. Еще за дверью слышны ее возмущенные восклицания.

Жена президента. Ну сколько можно, в самом-то деле?! Что я, по десять раз разогревать, что ли, должна?! Идешь ты домой, наконец, или нет, в самом деле? (*Замечает Теплицына.*) Ой, Федот Мартемьянович... Здравствуйте, дорогой!

Теплицын. Здравствуйте, Рада Макаровна, здравствуйте...

Жена президента. Как здоровье ваше? И Матрены Евпатыевны?

Теплицын. Да какой оно в наши годы? Скрипим потихоньку.

Жена президента. Давно прилетели?

Теплицын. Пришел я. Пешком шел, на Россию глядел...

Жена президента. Прямо пешком?.. Да вы проголодались, наверно?! Пойдемте ужинать. У нас сегодня котлетки по-полтавски, пюре, редисочка... Пойдемте, в самом деле, Федот Мартемьянович! И вот Егор тоже не ел. Только вот прилетел, и сразу сюда. Всё дела, всё дела...

Президент. Во-во! Надо, понимаешь, заправиться!

Теплицын. Редисочка, говорите... Животного-то я не ем... Но, может... Нам поговорить нужно с Егором Егоровичем. О важном поговорить... Может, попозже?..

Жена президента (*смиренно*). Как скажете, Федот Мартемьянович.

Президент. А лучше, Радочка, знаешь, э-э, сюда. Мы как раз поговорим и поедим заодно, понимаешь. У, разумно?

Жена президента. Можно, конечно. Сейчас тогда принесу.

Президент. Помочь?

Жена президента. Да нет. Там, я видела, Марина Скворцова по коридору болталась, ее попрошу.

Президент (*торопливо*). Угу, угу...

Жена президента уходит.

Да, Федот Мартемьянович, нам, понимаешь, есть о чем говорить. (*Садится.*) Но всё же давайте сначала, э-э, выпьем за встречу, за правильный выбор, э-э, россиян!

Теплицын. Вы-ыпьем... Вся Россия пьет-запивается...

Пьют.

Президент. Ездил я тут к Настасьеву, в его, э-э, деревню. Так он Христом Богом молил, понимаешь, не допустить к рулю этих (*кивает на шкаф*). Говорит: придут, понимаешь, они – пропадет Россия.

Теплицын. Я полностью с ним согласен. Нельзя, это гибельно для нее, но... (*Вздыхает, морищется.*) Эх-х... Ну, как там Настасьев? Как здоровье? Работает как?

Президент. Закончил свою, э-э, трилогию. Премию мы ему тут же дали. Я, понимаешь, указ написал. (*Потягивается.*) Вы тоже, Федот Мартемьянович, пишите, э-э, что-нибудь, и вам дадим. Надо же.

Теплицын. Надо-то надо... (*Протяжно вздыхает.*)

Стук в дверь.

Президент (*торопливо*). Да-да!

Дверь неловко открывается, и входит **Марина** с подносом. Президент вскакивает, суетливо помогает ей расставлять блюда.

Спасибо, э-э, Мариночка, большое спасибо. (*Теплицыну.*) Это Марина, доча министра нашего обороны.

Теплицын (*двусмысленно*). М-да...

Президент. А это, Мариш, Федот Мартемьянович Теплицын, великий русский писатель, лауреат, э-э, премии самой главной. Совесть нации, понимаешь!

Марина. Очень приятно. (*Президенту.*) Рада Макаровна сейчас принесет остальное. Приятного аппетита.

Президент. Спасибо, Мариночка.

Марина уходит. Президент смущенно и жадно провожает ее глазами.

Теплицын (*сурово*). Не похожа на папу.

Президент. Да и он, в принципе, человек-то, понимаешь, неплохой. Но, э-э (*наполняет рюмки*), Чечня эта... его... винят.

Входит жена президента с тарелками.

Жена президента (*глядя на бутылку в руках мужа*). Да уж не пей! Уж набрался же, в самом деле, Егор!

Президент. Для аппетита, Рада, по капельке. Капельку же, э-э, можно, Федот Мартемьяныч?

Теплицын (*двусмысленно*). М-м...

Жена президента. Вот наснимают тебя завтра, опять скандал...

Президент (*морицится*). А-а!.. Ступай, Рада, э-э, спасибо.

Жена президента (*Теплицыну*). Ну вот, по-простому у нас. Ужинайте, решайте вопросы.

Президент. Ложись, Рада, меня не жди. Мы тут засидимся, понимаешь...

Теплицын. Да, поговорим... накопилось.

Жена президента (*ворчливо*). Говорите, говорите... Завтра вон голосовать надо с утра, в самом деле, потом в деревню ехать. (*Уходит.*)

Президент (*увлеченно*). Нас тут, понимаешь, Польков заразил всех подсобным хозяйством. У него самого удойное стадо, лошадки, пчелы, и мы всей командой, понимаешь, решили. Деревенька у нас целая, в Дедовском районе, ну, где Былкин свои, понимаешь, агро-эксперименты устраивал. (*Встает, ходит по кабинету.*) Эх, приедешь туда, а там, понимаешь, приволье, природа кругом, коровы, э-э, мычат, гуси гогочут. Вот где, понимаешь, настоящая жизнь... С охраной только проблемы – в отставку рвутся. Что, дескать, понимаешь, пастушки мы или офицеры «Альфы»? Даю отставку, замены-то у меня, э-э, полно, кадров хватает... (*Садится.*) Ну, давай, Федот Мартемьяныч, накатим! И закуска есть, всё, понимаешь, чинчинарем. Редиска вот, она своими руками рощена, понимаешь, сам ее растил. Ну, поехали!

Теплицын (*неожиданно бойко*). Поехали, Егор Егорыч!

Пьют, закусывают.

Президент. Нелегко мне, понимаешь, столько всего... Астраков вот обратно просится. Из иностранных министров в разведку. Какой, говорит, я министр, э-э, дипломат... тем более командировки всё. Совсем хозяйство запустил, понимаешь. (*Смеется устало.*) Нет уж, говорю, Володька, как раз такие министры России и нужны. У нее еще много врагов! Не забывай! Клинтон, он, понимаешь!.. Все равно, э-э, просится – вьелся, понимаешь, в сад-огород... Ну как водочка? Хороша?

Теплицын. Хороша.

Президент. Наша, «Серебро Сибири»! Настасьев меня ею всё, э-э, потчевал... Кхм-кхм... (*Встает, подходит к магнитофону, включает его осторожно, как человек, боящийся нажать не на ту кнопку в сложном и дорогостоящем аппарате.*) Сейчас музыку послушаем. По вечерам, э-э, люблю.

Звучит песня группы «Неприкасаемые» «Скорый поезд придет ровно в шесть часов».

Сукачев, понимаешь, Гарик...

Теплицын (*зажимает уши*). Выключите, Егор Егорович! Не надо этого, ради бога!

Президент (*нехотя выключает*). А что, хорошо же. И ребята, понимаешь, хорошие, на концерты меня, э-э, приглашают, вот записи дарят. «Не принимайте, – просят, – популярных решений. Это попса!» (*Перебирает кассеты.*)

Теплицын. Я вот о чем поговорить-то хотел, Егор Егорович...

Президент. Щас, понимаешь, поговорим. Щас вот найду... Ага. (*Вставляет в магнитофон кассету.*)

Из магнитофона: «Телефон доверия президенту. Москва, 999-98-99. (*Гудки.*) Алло. Здравствуйте! Говорит Кедрач Антон Сергеевич. Строитель из Нижнего Новгорода. Тридцать шесть лет. Уважаемый Егор Егорович, знайте, вы единственный человек, кто...»

Теплицын (*чуть не плача*). Ну не надо! Каждый день по радио по десять раз! К тому же, Егор Егорыч, сегодня политическая реклама запрещена!

Президент (*выключает*). Э-э, а я и забыл совсем, понимаешь. Сам указ написал – и забыл. (*Садится.*) М-да-а...

Пауза.

Теплицын. Я вот о чем хотел... В больших сомнениях я. Тяжело на душе... Куда идем? Что там, впереди?... Пришел спросить.

Президент. Э-э... Федот Мартемьянович, странно, понимаешь, получается. Ты – совесть нации, у тебя мы совета просить, э-э, должны. Как так, понимаешь? Вот я к Настасьеву, понимаешь, приехал, и он мне сразу: «Христом Богом, понимаешь, молю – не допустите этих (*кивает на шкаф*) до власти. Придут они, понимаешь, – потеряем Россию! Мы за нее в ответе: я, вы, Егор Егорыч, и великий наш гуманист Федот Мартемьянович. Только мы!» Вот так, понимаешь, человек понимает. И правильно, э-э, понимает!

Теплицын. Я тоже понимаю. Но трудно людям, ох как им трудно. Беспросветно. Вот что вижу, вот мучаюсь чем. Да, мы в ответе, но что же ответить?!

Президент (*размеренно*). Действительно, реформы, понимаешь, идут не совсем гладко. Даже, э-э, совсем не гладко. Во-первых, темное наследие этих (*кивает на шкаф*), потом, понимаешь, Ворошилов со своей шоковой терапией... Но, э-э, и Москва не сразу строилась. Время, общие усилия и целенаправленная, понимаешь, работа – вот что нужно для возрождения, э-э, России. А тут кто? Вор, понимаешь, на воре, алкаш на алкаше... Задумал я, Федот Мартемьяныч, перемены сделать в команде, но это государственная, э-э, тайна пока. (*Потягивается.*) Сложно настоящую команду собрать... Вот Польков, понимаешь, вот это человек новой, э-э, формации, настоящий хозяйственник! Москву во что превратил! Цветет, э-э, и ширится!

Теплицын. Не к добру она цветет и ширится, ой не к добру.

Президент (*махнув рукой*). А, не понимаю я тебя, Федот Мартемьянович. Не понимаю, понимаешь, твоих настроений! Как не к добру-то?! Гляди, этак можно из совести, э-э, нации запросто и в оппозицию перескочить. У нас, кстати, есть кандидаты на совесть. Вот академик Тихачёв, например, – давно уже, понимаешь, почти совесть нации, и тоже сидел. Да тот же Настасьев!.. Хорошо мы с ним поговорили в его, э-э, беседке на берегу. Получил я от него благословение...

Теплицын. В монастырь уйду. В Оптину пустынь.

Президент (*сурово*). Каждый свободен, э-э, выбирать... Еще по стопочке?

Теплицын. Что уж теперь – не откажусь... Водка действительно замечательная.

Президент. Вот! Вот какая-то хоть, э-э, позитивность! Молодец, Мартемьяныч!.. Научились, понимаешь, изготавливать продукт. И оформлена как, гляди. И магнитный, э-э, код имеется! (*Наливает.*) Зря ты, Федот Мартемьяныч, нюни пускаешь. Все, понимаешь, стабилизируется. Поездил я по стране, посмотрел – верным путем, э-э, все же идем. Да, трудно нам, понимаешь, много еще, понимаешь, всякой сволочи... Вот даже, э-э, вице-премьер у меня был, Сакс, архитектор, понимаешь, разгосударствления, и тот заворовался. Деньги коробками, э-э, таскал. Открыли уголовное дело, я, понимаешь, указ написал... И генеральный, э-э, прокурор... А сколько этих министров, банкиров, директоров, э-э, фондов летит! Трудно, понимаешь, быть президентом... Ну (*поднимает рюмку*) поехали!

Пьют.

Теплицын (*закусив редиской*). Когда я шел сюда, остановился перед храмом Христа Спасителя. Пал на колени и просил Господа дать сил мне сказать всё, что наболело... Да, видно, он не услышал...

Президент. Вот, э-э, кстати, и про Христа, понимаешь, Спасителя. Возрождаем же, Федот Мартемьяныч, возрождаем Россию!

Теплицын. За храм спасибо вам, Егор Егорович, от всего народа. Народ вам этого не забудет. Вопрос только, будет ли через тридцать лет народ русский...

Президент (*перебивает*). Да не мне спасибо! Я только, э-э, указ написал, а строил, понимаешь, Польшков. (*Потягивается.*) Вот еще бы нефть научиться перерабатывать, «Вольвы» свои строить, магнитофоны, понимаешь, не хуже этих, и зажила бы Россия, в мировое пространство на равных вошла!

Теплицын. Роскоши, Егор Егорович, особой не надо. Она развращает. У одних «Вольво» есть, у других его нет. Из-за этого и преступность. Я своим сынам специально магнитофонов не покупаю...

Президент. А сколько им лет, сынам?

Теплицын. Старшему, Ермилу, сорок семь скоро будет, а младшему, Аввакуму, шестнадцать. Между ними каждый через два года.

Президент. И все с вами живут?

Теплицын. Все со мной.

Президент. А, э-э, женаты?

Теплицын. Нет, пока не женил. В эмиграции русских, особенно по духу, не найти было, а здесь не подобрал пока. Тоже негусто... Но я не о том, Егор Егорович, поговорить-то пришел. (*Прокашливается.*) Тут, Егор Егорович, не до «Вольв»... Мои сыны в домотканом ходят – и ничего... Как же вот людям, учителям, например, совсем без зарплаты прожить несколько месяцев? Шахтеру как же голодным в шахту спускаться?

Президент (*сухо*). Из центра деньги уходят. И указ есть. Это там на местах чего-то, э-э, химичат. Может, и эти (*кивает на икаф*) нарочно не платят, чтоб президента дискредитировать... И не верю я, понимаешь, что у народа совсем денег нет, что прямо уж голодают. Дачи у всех, э-э, огороды... И скажи ты мне, Федот Мартемьянович, где их взять, понимаешь, эти чертовы деньги? Что я их, печатаю, что ли? (*Осторожно потягивается.*) Зато, э-э, инфляция почти не растет.

Пауза.

Теплицын. Что, Егор Егорович, водочки, быть может, еще?

Президент. У, дело! Вот, Мартемьяныч, и, э-э, мудрое слово сказал наконец! (*Смеется.*) Ты как голосовать-то собрался? (*Наполняет рюмки.*)

Теплицын неопределенно двигает головой. Выпивают.

Ну, за кого?

Теплицын (*подвинувшись к президенту, жарким полупшепотом*). Егор Егорович, слушай, а давай монархию восстановим! Романовых пригласим – пусть разбираются. А?

Пауза.

Президент (*уныло*). Опять ты за свое, понимаешь... Ну как мы ее восстановим? Указ, что ли, сесть написать об изменении государственного, э-э, строя? Кому там... Константину? Кириллу, понимаешь?... Глупости.

Теплицын (*робко*). Референдум можно устроить...

Президент. Да? Ты уверен? А где я денег на него наберусь, понимаешь? У меня миллионы обманутых вкладчиков, компенсации, э-э, индексации всякие! (*Встает, быстро ходит*

по кабинету.) Смешно это, Федот Мартемьянович. Просто, понимаешь, смешно! Это же, э-э, длительный исторический, понимаешь, процесс, а не *(крутит рукой)*, понимаешь!

Теплицын. Введение института президентства не оказалось длительным историческим...

Президент. Наоборот! Всё было, понимаешь, обусловлено и подготовлено. Да и не я его, э-э, ввел, а этот, понимаешь, – «расширять и углублять». *(Садится, хочет налить водки в рюмки, но ставит бутылку обратно.)* Зря ты так, Мартемьяныч...

Пауза.

Теплицын *(грустно)*. Когда я жил в Сиэтле, мне казалось наивно, что стоит только вернуться на Родину, и я быстро пойму, как ее обустроить. Дать рецепт. А на деле... Зря я вернулся... *(Напевает.)* «Над Канадой небо синее, хоть похоже на Россию, только это не Россия».

Шатаясь, входит **премьер**.

Премьер. Как оно тут?.. А-а, Федот Мар... Мартемьяныч! Наше вам!

Президент. О, Леша, все-таки, понимаешь, набрался. *(Голосом жены.)* Завтра же голосовать, фотографии, пресса...

Премьер. Будьте спок, Егор Егорович... *(Тяжело садится.)* Пойдемте спать.

Президент. Да, понимаешь, пора. Завтра трудный день. Завтра, э-э, судьба всей России может решиться! Выпьем же, чтобы не рухнула она, понимаешь, в пропасть под напором этих *(кивает на шкаф)* сил, понимаешь!

Премьер *(из последних сил)*. Выпьем!

Президент наполняет рюмки. Чокаются, пьют.

Президент. Вы когда домой едете, э-э, Федот Мартемьянович?

Теплицын *(хмуро)*. Завтра на рассвете. Пойду.

Президент. Я дам свой самолет. *(Снимает трубку.)* Аллё, президентский, понимаешь, аэродром мне! Президент говорит. *(Теплицыну.)* На сколько, э-э, заказывать?

Теплицын. На... на девять.

Президент *(в трубку)*. Там, э-э, самолет подготовьте на девять утра. Да. Нет, не я, один, э-э, человек полетит. До Колы... То есть до Костромы!.. Хорошо... Голосовать-то, понимаешь, собираетесь? А за кого?.. Спасибо, э-э, авиаторы, демократии каждый голос необходим, понимаешь! Всего доброго! *(Кладет трубку.)* Завтра, Федот Мартемьянович, к восьми будет готова машина.

Теплицын *(подавленно)*. Спасибо.

Премьер. Юра, пойдем спать... Ю-ур...

Президент. Погоди, не зуди, понимаешь. Вот постелить надо еще совести нации. *(Поднимается, тяжело идет к двери.)* Щас, э-э, жену крикну. *(Кричит в коридор.)* Рада! Рада, понимаешь, Макаэрна!

Премьер. Тише, всю команду перебудите!

Президент. Плевать! Я тут пока, э-э, президент... Радка, тудыт твою, понимаешь!..

Ответный крик **жены президента**: «Чего орешь?!»

Белье тащи! Постелить надо Мартемьянычу. Есть, э-э, чистое? *(Возвращается к столу, берет бутылку.)* На посошок сейчас... Отдохнуть надо, выспаться... Отдохнешь, Федот Мартемьяныч, в той комнате задней. Там Виссарионович подумать любил.

Теплицын. Что делать... ваша воля...

Входит наскоро одетая, страшная со сна **жена президента** с охапкой белья.

Жена президента *(недовольно)*. Где стелить?

Президент. Там. *(Показывает на дверь в заднюю комнату.)* Эта в любой, понимаешь, момент понадобится может. Вдруг путч там или, э-э, переворот.

Жена президента. Да не пугай ты, господи! *(Уходит.)*

Президент *(полушепотом, подняв рюмку)*. Ну, вздрогнем.

Премьер. Юр, спать же пора.

Президент. Не зуди, говорю. Щас вот уложим товарища и пойдем...

Теплицын. Не называйте меня товарищем, Егор Егорович! И вообще, я хочу сказать: Всё правильно! И этих *(кивает на шкаф)* допустить до власти нельзя! Любой ценой!.. Нельзя!

Президент. Вот, снова мудрые, понимаешь, слова. Будем!

Чокаются, пьют.

Теплицын. Только... Только вот хочу попросить, очень хочу попросить, Егор Егорович: дайте народу зарплату, погасите долги. Ведь плачет народ! Свобода есть, всё есть, только денег нет. А без денег этих проклятых... И плачет...

Президент. Неправда! Народ веселится, смеется, понимаешь, народ! На День независимости ходил?... А я ходил, и смеется народ, пляшет, песни про Россию поет.

Теплицын. Плачет.

Президент. Смеется!

Теплицын *(мочает головой)*. Ой, плачет...

Президент. Смеется, понимаешь, народ. Выпьет – и смеется!

Теплицын. Выпьет – и пла-ачет.

Премьер. Э, ребя, давайте и мы... *(Берет бутылку.)* «Серебро...» такое «Сибири...»!

Входит **жена президента**, отбирает у премьера бутылку.

Жена президента. Да хватит уже, в самом деле! Всё, выкатывайтесь, марш по домам! *(Теплицыну.)* Идите, Федот Мартемьянович, постелила вам там на диванчике.

Теплицын. Спасибо, Рада Макаровна... *(Пытается подняться, но не может.)* Ох, что-то не того... Ножки очугунели...

Президент *(жене)*. Давай-ка поможем совести. Ну, поднимаем!

Президент и его жена помогают Теплицыну встать и ведут его в заднюю комнату.

Премьер *(глядя на них)*. Вот так, понимаешь, картина, в самом деле! Это, когда выйду в отставку, сяду за мемуары. Вот напишу-у!

Президент *(возвращается, обнимает премьера)*. Пошли спать, писатель... Жисть, Леха, копейка... Но я их... *(Смотрит на бюсты на шкафу.)* Пусть только... *(Поет.)* По Дон-ну гуляет, по Дон-ну гуляет, по Дон-ну гуляет казак молодой!..

Президент, его жена и премьер уходят. Постепенно смолкает пение, пересыпанное руганью жены, еще кого-то: «Заткнитесь!», «Черт, вы дадите поспать!», «Алкоголики, в самом деле!», «Мол-лчать всем! Я тут пока президент, понимаешь!», «Рабочий день кончился. Конституция гарантирует право на отдых!».

С минуту сцена пуста, затем осторожно входят **Марина** и **Вадим**.

Марина. Никого. Вадька, проходи! Разошлись вожди в конце концов.

Вадим (*осматривается*). Это и есть тот самый кабинет, где все свершается?

Марина. Свершается-свершается... Садись, рассказывай! Вот и водка даже есть, закуска...

Садятся. Марина наполняет рюмки.

Как ты здесь вообще очутился?

Вадим. Ну, днем прошел как турист, спрятался в Царь-колоколе... там сетка надорвана... сейчас вылез, пошел...

Марина. Ну ты вообще! Ты с ума просто сошел, Вадька! Тебя же снайперы легко могли снять, здесь снайперы на каждом шагу. Я случайно вышла подышать, и вдруг ты, представь!

Вадим. А я знал, что тебя встречу. Тоже так шел и знал: сейчас увижу тебя. И ничего не боялся.

Марина. Да? Ну давай рассказывай! Нет, сначала выпьем! Вообще, Вадька, как в сказке!.. Я тут ни с кем не дружу, одна совсем... В общем, за встречу, Вадька!

Вадим (*улыбаясь*). Ага, за встречу!

Пьют.

Марина. Закусывай, не брезгуй. Это вот президент ел, а это совесть нашей нации – писатель Теплицын. Тебе какую тарелку?

Вадим. Теплицына, в ней больше.

Марина. Редиску бери, из президентского огорода.

Вадим. Хм! (*Жует редиску.*) Сочная, полив хороший.

Марина. Охрана старается. Ну, рассказывай!

Вадим. Да что рассказывать?

Марина. Как там наши? Как город вообще?

Вадим. Да все по-старому... так... Лучше – ты! Видишь, как теперь живешь... в Кремле, блин.

Марина (*вдруг погрузившись*). Скучно тут очень. Тесно... как в общежитии какой-то живем. Вот там, в Анжиро-Судженске, когда папка полковником был, вот было время!..

Вадим (*напевает*). Где же наши пятнадцать лет?! (*Бросает в рот кусок котлеты.*) А где работаешь?

Марина (*удивленно*). Нигде. Вообще-то в деревне живу, там более-менее... но сегодня привезли, чтоб голосовать... У нас под Дедовском деревня целая есть, в народе называется – Президентская. Там у всей команды домики, хозяйство. Коровы, куры, козы... У некоторых пчелы даже.

Вадим. Да ты что? (*Смеется.*) Вот дома-то расскажу!..

Марина. А ты где работаешь?

Вадим. Тоже нигде. Что толку работать? Болтаюсь так, родители пока кормят. Сел вот в поезд, сюда приехал... Тебя, Маринка, сильно захотелось увидеть...

Марина (*с улыбкой*). Правда, что ли?

Вадим. Угу. *(Пауза.)* А ты изменилась.

Марина. Да уж, конечно! Третий десяток!

Вадим. Еще красивее стала...

Марина. Не ври! Ты песни-то все сочиняешь?

Вадим. Теперь у меня целая группа! Панк-рок лабаем. Социальщину, злую такую...

Марина. Да? Спой, Вадька, а!

Вадим. Гитары нету.

Марина. У меня есть. Я сейчас. *(Убегает.)*

Вадим осматривается. Встает, осторожно ходит по кабинету. Подходит к столу президента, смотрит в бумаги.

Вадим. «Проект указа по индексациям вкладов населения 1916 года рождения и ранее...» *(Тихо смеется.)* Ведь никто не поверит... А почерк испорченный, наверное, пишет много. Да-а, попал!.. *(Возвращается к водке, закуске.)* Водка вкусная. О, из наших краев? «Сереб ро Сибири». *(Быстро наливает рюмку и выпивает.)* Вкусная. Я такой в магазинах не видел. Какое-то особое «Серебро...»

Вбегает **Марина.**

Марина. Вот, папкина! Еще с Афганистана.

Вадим. А?

Марина. Папка в Афганистане на гитаре научился играть... вот...

Вадим принимает гитару, пробует струны.

Вадим. Может, Марин, потом? Что мы, только встретились, и сразу чего-то петь...

Марина. Давай-давай, не ломайся!

Вадим. Да и песни глупые, политические. Тебе надоело, наверно... А лирику я всю пере-забыл.

Марина. Ну хоть одну! Зря я, что ли, гитару тащила?

Вадим. Ла-адно. Самую дебильную, чтобы тебе больше слушать не захотелось. *(Начинает играть, потом поет.)*

Я хочу в парламент,
Поближе к депутатам,
Там тепло и кормят
Получше, чем когда-то.

Мандат депутата, мандат депутата!
Выдай мне мандат!

Я хочу в премьеры
Отнюдь не для карьеры,
А для тихой славы
Нажраться до отвала.

Мандат премьера, мандат премьера!
Выдай мне мандат премьера!

Я хочу в президенты,
Управлять всей страной,
Упуская моменты,
Все законы – долой!

Мандат президента, мандат президента!
Выдай мне мандаты! Выдай мне мандаты!..

Появляется **Теплицын**.

Теплицын. Ну зачем так рычать, господа? Голова же раскалывается!..

Марина. Ой, это он... Теплицын...

Вадим (*встает*). Здравствуйте, Федот Мартемьянович! Я вас сразу узнал?

Теплицын (*морицась, потирая виски*). Неужто сразу? Вы читали мои книги?

Вадим. Н-нет... но по телику часто вас видел.

Теплицын (*садится*). М-м, ясно... А песня, кстати, хорошая: глупая, но честная. Именно об этом мечтает подавляющая часть россиян. Даже поговорка появилась: «В депутаты пойду – хоть наемся вкусно». Мда, что-то страшное происходит с народом. Переходный период... Вот я, молодые люди, я столько перестрадал за свою жизнь, столько видел... Вы, наверное, хоть вкратце знаете мою биографию. Меня считают мудрым, честным человеком, великим русским писателем. От меня ждут слова...

Марина (*Вадиму*). Затянулась песенка...

Теплицын. А что могу я сказать? Я старый, я очень старый и больной человек... Ох! (*Трет виски.*) Как же болит голова!

Марина. Выпейте, Федот Мартемьянович, рюмочку – поможет.

Теплицын. Стар я для водки и все-таки выпью. Вы, надеюсь, меня не бросите?

Вадим. Если можно, то выпьем, конечно.

Марина наполняет три рюмки.

Теплицын. Две недели я шел пешком из Костромы сюда. Я смотрел. Я говорил с людьми. Я сегодня говорил с президентом. И что? Я ни чего не понимаю, я ничего не могу сказать...

Вадим. Скоро, наверное, все будет ясно.

Теплицын (*берет рюмку, мотает головой*). Нет. Узелок затянется еще туже.

Пауза.

Вадим. Давайте выпьем!

Теплицын. Да, да, надо пить.

Пьют.

Вадим. А я, Федот Мартемьянович, вообще против государства. Любое государство – это орудие угнетения. Одни слои неизбежно угнетают другие. Я вот – анархист.

Теплицын. А я – монархист. Я за хорошего, за доброго царя-батюшку. Нам нужен царь, именно – батюшка! Россия не может существовать без монархии. В ней традиции, вера, надежда... Я долго сидел в архивах и понял...

Вадим. Глупости. Что, по-вашему, Петр Первый, Николай Первый, Иван Грозный хорошие, что ли, были цари? Да кровопийцы! А либералов этих, типа Петра Третьего или там Александра Второго, быстро пришивали. Нет, монархия – это не выход.

Теплицын (*ломая руки*). Так что же делать? Народу трудно, плохо ему! Вот вы, анархист, скажите... Что, по-вашему, делать?

Вадим. Да ничего. Просто надо все бросить, пусть оно развивается как хочет. А рухнет – взять палки и идти в тайгу на охоту...

Теплицын. Не то! (*Вскакивает.*) Не то! Я не хочу!.. (*Пристально смотрит на Вадима.*) Вот из-за вас таких всё и случается. «Нам все равно! Нам все равно!» А миллионы невинных в ГУЛАГ идут! По чьей-то прихоти (*бросает взгляд на Марину*) гибнут в Чечне!..

Вадим. Иди спать, а! Видишь, я тут с девушкой общаюсь с любви мой...

Пауза.

Теплицын. Простите! (*Быстро уходит в заднюю комнату.*)

Марина. Круто ты его, Вадька! Это же сам Теплицын, лауреат...

Вадим. Плевать, Марин. Надоел... Знаешь, я приехал к тебе, я хочу на тебя смотреть и голос твой слушать, а не его чертыхания. Марин (*берет ее за руку*), давай убежим отсюда?

Марина (*грустно, глядя в пол*). Я знаю, все считают папку виновным за Чечню, но ведь он просто солдат... Ему приказывают – он исполняет.

Вадим. Да плюнь, Марин! Все это знают, просто надо иметь крайнего... Давай в Анжеро-Судженск смоемся, а? Помнишь ту клятву на вокзале, когда ты уезжала? Знаешь, я ее не нарушил.

Марина (*тихо*). Я тоже.

Готовятся поцеловаться, но тут появляется **президент** в кальсонах и майке, без грима.

Президент (*бормочет, никого не видя*). Старая, понимаешь, курва.. ни днем ни ночью... (*Замечает Марину и Вадима.*) Э-э?

Марина. Это Вадик, мой школьный друг... только что приехал из Анжеро-Судженска.

Президент. Э-э...

Вадим. Да, только вот с поезда, а переночевать негде.

Президент. И... э-э...

Марина. Вот я его и привела... переночевать. Можно, Егор Егорович?

Президент. Не понимаю...

Марина. Он без взрывчатки и не агент. Он из Анжеро-Судженска.

Вадим. Да-да, это так... Водка у вас хорошая. Сибирская! Я тоже сибирский.

Президент. М-да, понимаешь... (*Приходит в себя.*) Выпьем, что ли, тогда?..

Вадим. Можно, конечно.

Президент смотрит на бутылку, она пустая. Достает новую.

Президент. Водка, э-э, хорошая. И, главное, понимаешь, наша! Теперь еще бы автомобили и нефтепродукты – и обновится Россия, э-э, окрепнет! (*Наполняет рюмки.*) И вам, э-э, Мариночка?

Марина. Я не против.

Президент. Во-от. Ну, за знакомство! (*Смотрит на Вадима.*) Неожиданно, понимаешь. Не привык я пока так, чтобы, э-э, здесь люди не из моей команды. Ну, поехали, понимаешь. Вадик, да?

Марина. Вадик, Вадик.

Президент. Эхе, э-э, запомнил!

Пьют.

Менять надо, Вадик, команду. Наметил я ряд перестановок, чтобы, понимаешь, новые лица... (*Спохватывается.*) Но это пока – государственная тайна!

Вадим (*с шутливой серьезностью*). Ясно.

Пауза.

Президент. Как же ты так, понимаешь, в такое время приехал, Вадим? Россия стоит, э-э, перед выбором, каждый голос, понимаешь...

Вадим. Я никогда не голосую, Егор Егорович.

Президент. Плохо, очень плохо, Вадим! Каждый, понимаешь, голос, отданный за демократию, за продолжение, э-э, курса реформ...

Марина. Простите, Егор Егорович, может, что-нибудь закусить принести?

Президент. Э-э... (*Смотрит на Марину, на Вадима.*) Мне, э-э, не надо, я так, понимаешь, заскочил – не спится что-то... Э-э, очень рад вашей встрече. И сколько не виделись?

Марина. Семь лет почти.

Президент. О, понимаешь, срок! Я тогда в глухой, э-э, оппозиции был. И не забыли друг дружку? Молодцы, понимаешь! За это и выпить не грех. (*Наливает.*) За вас и за вашу, э-э, встречу.

Чокаются, пьют.

Вы откуда, Вадим?

Вадим. Из Анжеро-Судженска.

Президент (*вспоминает*). Это где у нас такой город есть? И не слыхал о таком, понимаешь.

Вадим. В районе Кузбасса. Так, тихий городок...

Марина. Папа там одно время служил. После Афганистана.

Президент. Гм. Он, понимаешь, и не рассказывал. Мда, трудно быть президентом, Вадик. Ой как трудно! А сдаваться нельзя. Придут эти (*кивает на шкаф*), что, э-э, делать будем? Пропадет ведь Россия. (*Наливает водки.*) Вот Теплицын пришел, совесть нации, понимаешь, и просит монархию возвратить. Введем, дескать, монархию, Романовых пригласим, пусть, э-э, разбираются. (*Пьет в задумчивости.*) Не с кондачка такие вопросы надо решать. Референдум? Так он в какие, понимаешь, миллиарды вылезет! А у меня компенсации, индексации, понимаешь... Тяжело, Вадим, так тяжело. Наобещал, скажут, всё погасить, а сам... Пупулистом опять обзывать начнут... А отступить-то, понимаешь, нельзя...

Вадим. Егор Егорович, я вам, конечно, сочувствую. В такое вляпаться.

Президент. В каком это, понимаешь, смысле – вляпаться?

Вадим. Ну, во все это государство... Я анархист.

Президент. Террорист?

Марина. Он мирный.

Вадим. Я мирный. (*Пауза.*) Я вам сочувствую, но, понимаете, мы с Мариной давно не виделись, нам есть что вспомнись... У?

Президент грустно кивает, наполняет свою рюмку.

Президент. Президент всё понимает. Это только так кажется, что он дурачок совсем. *(Выпивает водку, тоскливо смотрит на Марину, на Вадима.)* Все он, понимаешь, понимает. *(Качает головой.)* Спокойной вам ночи, э-э, ребята. *(Тяжело идет к двери.)* Да, Марина, все-таки, понимаешь, сходи завтра на выборы, исполни, э-э, гражданский долг. Ладно? Участки открыты с восьми утра до десяти, понимаешь, вечера. *(Уходит)*

Вадим. Наконец-то... Марин, включи, пожалуйста, музыку.

Марина включает магнитофон. Звучит «Телефон доверия президенту»: «...в состоянии вытащить страну из кризиса, поднять уровень жизни простых россиян. Я вот строитель, я человек рабочий, простой, и я вам так скажу: рабочий класс за вас, уважаемый Егор Егорович. Смело участвуйте в выборах – мы вас поддержим. До свидания». *(Гудки.)* «Дорогой Егор Егорович. Мне 95 лет. Я участвовал в пяти войнах, полковник запаса Иванов Петр Захарович. Прошу решительных действий в Чечне! Всю жизнь они воду мутят. Вывезти оттуда всё мирное население, и по квадратам ее, суку, по квадратам? Голосовать буду только за вас. С уважением Иванов Петр Захарович».

Марина и Вадим целуются, ничего не слыша. Свет постепенно гаснет, звук затихает, занавес медленно съезжается.

Действие второе

Тот же кабинет, та же обстановка. Вечер 17 июня 1996 года. Вбегает **президент** с пачкой бумаг в руках, за ним **премьер**.

Президент *(падает в кресло)*. Вот так татары! Вот так, э-э, Шарипов! Ну, спасибо, понимаешь, субъект федерации! Ну удружил!

Премьер. Успокойтесь, Егор Егорович. Все-таки мы впереди!

Президент *(смотрит в бумаги)*. Ну, Рязань эта там, Ярославль... этих, э-э, понять еще можно. Я им особо-то не даю раз гуляться. А эти чем недовольны?! Приехал: «Наш президент! Дорогой, понимаешь, Егор Егорович! Вот самолет мы своими, э-э, руками построили, посмотрите! Спасибо, Егор Егорович, за суверенитет!» А сами!.. *(Потрясает бумагами.)* Татары, понимаешь!.. За этих *(кивает на шкаф)*, да?! Ну, будет им теперь приоритет, понимаешь, вот такие субсидии им, э-э, теперь будут! *(Делает выразительный жест.)*

Премьер. Ничего, Егор Егорович. В целом по стране – мы впереди! По предварительным данным, на три процента.

Президент. Ну ведь обидно же, понимаешь! Тут бьешься, э-э, бьешься... *(Грустит.)*

Премьер *(садится, ослабляет галстук)*. Что будем делать с Журавлевым? Действовать по плану? У него семнадцать процентов... надо перетягивать голоса...

Президент *(вздыхает)*. Надо. *(Пауза. Оживляется.)* Так, Леха, беги, звони Журавлеву, тащи его, понимаешь, сюда!

Премьер. Прямо сюда?

Президент. Да! Эти стены, понимаешь, умеют действовать на людей. Как договоримся, выйдем в Георгиевский зал, туда журналистов, э-э, аккредитуй всяких, понимаешь...

Премьер. И *(кивает на шкаф)* этих?

Президент. Всяких! Пусть все, понимаешь, видят!.. Давай, Лёхан, беги, время, э-э, не ждет!

Премьер. Есть! *(Убегает.)*

Президент сидит у стола, постукивает по нему пальцами, размышляет... Из задней комнаты выходит **Вадим** в майке и трико.

Лицо красное и страшно опухшее.

Президент (*приветливо*). О, Вадим Эдуардович! Спать вы, понимаешь, мастера! Время-то знаешь, э-э, сколько уже?

Вадим (*садился*). Так квасить... ничего знать... не будешь... (*Пьет воду из графина.*)

Президент. А я с семи, понимаешь, утра на ногах. Десятки вопросов уже проработал. И – как огурчик.

Вадим. У вас таблетки, наверно, специальные есть. Ну, что выборы, состоялись?

Президент. Состояться-то, э-э, состоялись, но положение не из легких. Шаткое положение, понимаешь. Напирают (*кивает на шкаф*) эти. По предварительным данным, мы обгоняем их (*смотрит в бумаги*) на два и девяносто две, э-э, сотых процента.

Вадим. Н-да... борьба за власть.

Президент. Теперь второй тур надо делать. Недели, понимаешь, через две-три. А за это время... Ничего, Вадим, я волейболом занимался! И, понимаешь, не любил выходить в начале, а сидел на скамейке, э-э, запасных! А выходил я в самую,, понимаешь, тяжелую ситуацию, когда наши, понимаешь, уступали. Выходил – и вколачивал! (*Встает, показывает, как «вколачивал» мячи.*) Брать мои удары просто бес полезно, пальцы у них сразу, понимаешь, все вылетали!

Вадим. Да, Егор Егорович, с вами шутить не безопасно.

Президент (*кряхтя, садится*). И я, понимаешь, о том же. Пальцы любому повышибаю!

Пауза. Президент занят бумагами.

Вадим. Егор Егорыч, может, по капельке, а? Похмелье...

Президент. Мне, понимаешь, нельзя. У меня еще, э-э, дела, встречи. Надо держать ситуацию под контролем! А ты давай, Вадим, давай, э-э, не стесняйся. Там вон в шкафчике...

Вадим встает, подходит к шкафу, наливает рюмку водки и проглатывает. Стук в дверь. Входит **жена премьера**.

Жена премьера (*с улыбкой*). Можно к вам, Егор Егорыч?

Президент. Можно, можно, Ангела Степанна. С чем, понимаешь, пришли?

Жена премьера. Моего-то нет? Опять где-то носится... (*Недовольно смотрит на Вадима.*) Я вот что, Егор Егорович... Была я вчера в деревне...

Президент (*строго*). А выборы?

Жена премьера. Да голосовала я, голосовала! А потом туда скорей. Дел-то уйма. Все запущено, перцы не высажены до сих пор, охрана пьет, загорает... И вот еще... Овес у нас, Егор Егорович, кончился. А кроликам что трава? Сколько ни давай – всё голодные. Так вот пару мешочков бы, а, Егор Егорыч?..

Президент (*устало*). К Затирухе сходи, он за это, э-э, отвечает. Он же по сельскому, понимаешь, хозяйству.

Жена премьера. Была я, была у него. Не дает. Говорит, без вашего указа – ни грамма. У меня, говорит, Мурманск...

Президент. О-хо-хо-х... Ну, вы бы сами, понимаешь, как-нибудь, э-э, изыскали возможности. Польков вон ни разу, э-э, не обращался...

Жена премьера. Он, Егор Егорович, человек предприимчивый, а мы что... Мы не умеем...

Президент. Ла-адно. (*Берет бумагу, ручку.*)

Вадим в это время сидит на диване, вяло играет на гитаре.

Совсем, понимаешь, в авторитаризм вгоняете. (*Пишет.*) «Указ президента эр эф за номером (*смотрит в бумаги*) сто двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят два. В целях поддержки индивидуальных и фермерских хозяйств при президенте эр эф: выдать индивидуальному хозяйству...» (*Жене премьер.*) Как у вас там хозяйство называется?

Жена премьер (*торопливо*). «Скважина изобилия».

Президент. «...«Скважина изобилия» три мешка овса. Подпись: президент эр эф Егор Егорович такой-то». (*Просматривает, подает жене премьер.*) Вот, держи, Степановна. В канцелярии, э-э, печать поставь, а то, понимаешь, опять напряженности всякие...

Жена премьер. Ой, спасибо вам огромное, Егор Егорыч! На мясоед ждите от нас пода-рочка...

Президент (*морщась*). Ни к чему это, Анжела Степанна...

Жена премьер. Да уж ладно, одна же команда как-никак... Ну, спасибо!

Жена премьер уходит. Президент погружен в чтение бумаг.

Вадим *негромко поет:*

Все антинародные, все борются за власть,
Чтобы больше выпить и покушать всласть.
Даже если щас хороший, станет он плохим,
И к народным чаяньям будет он глухим.

Много, очень много претендентов, ой,
Тянутся их реченьки, как вонючий гной.
Скоро, очень скоро – коммунизм, капитализм,
Скоро, очень скоро наступит катаклизм.

А я выбираю «Майский чай»,
Выбираю «Майский чай»...

А может, действительно, Егор Егорыч, чайку крепенького?

Президент (*не отрываясь от бумаг*). Иди там попроси, э-э, у мо ей. Скажи, что для президента, она даст... (*Смотрит на Вадима.*) А где Марина-то? Что ж она тебя, пони маешь, чаем не поит?

Вадим. А, распахивалась вчера, что напился, убежала.

Президент. Помириться бы надо. Она девушка, э-э, хорошая... (*Мечтательно смотрит в стену.*) Мда-а, понимаешь... трудно быть президентом...

Вадим. Честно говоря, не позавидуешь вам, Егор Егорыч. (*Встает, направляется к двери.*) Чайку принести, для тонуса?

Президент. Некогда чай тут гонять. Дела, понимаешь, дела...

Вадим уходит.

(*Сам с собой.*) Ох, что же, э-э, делать? Кто скажет? В сорока девяти регионах у этих (*кивает на шкаф*) преимущество. Инвестиции, понимаешь, надо давать, индексации делать. (*Осматривается, встает, ходит по кабинету.*) Президент должен быть тверд. Он должен

быть, понимаешь, волейболист. Он должен вот так!.. (*Подпрыгивает и «вколачивает мяч».*) Вот так, вот так! Пальцы им всем повышибать, понимаешь, чтоб не мутили. Власти, э-э, хотите? Чтобы много выпить и покушать всласть, понимаешь? Так вот вам, вот, вот! (*Подпрыгивает и «вколачивает».*) Устро-ою я вам второй тайм – все пообсеретесь! (*Включает магнитофон, садится в кресло, закрывает глаза.*)

«Телефон доверия президенту. Москва. 999-98-99». (*Гудки.*) «Уважаемый Егор Егорович! Вас беспокоит доцент научно исследовательского института из города Челябинска Кузнецов Александр Сергеевич. Мне хочется пожелать вам полной победы на предстоящих президентских выборах. Пусть сейчас есть недоработки и трудности, пусть механизм дает время от времени сбои, но курс реформ – это наш курс, это курс новой России! Еще раз – здоровья вам, Егор Егорович, и победы!» (*Гудки.*) «Алло! Говорить?.. Это Наталья Бобрина, домохозяйка. Мне 34 года. Хочу, чтобы президентом был только Егор Егорыч. Я его очень люблю как президента и как человека. Я отдам голос только за него. Всё».

Входит **премьер**. Президент показывает жестом, чтобы он выключил магнитофон.

Премьер. Договорился! Послали за ним машину. Сейчас привезут.

Президент встает, ходит по кабинету, думает. Премьер наблюдает за ним.

(*Робко.*) И что вы будете ему говорить, Егор Егорыч?

Президент (*задумчиво*). Услышишь.

Премьер (*достает из кармана бумажку*). Вот новые данные. Наш отрыв увеличился на две сотые.

Президент. Хорошо. А у Журавлева?

Премьер (*смотрит в бумажку*). У него шестнадцать и восемь.

Президент. Хорошо-о. Остальные, кроме (*кивает на шкаф*) этих, совсем отстали?

Премьер. На четвертом месте по-прежнему логик Стрельницкий с четырьмя и двадцатью двумя.

Президент. С ним я тоже, понимаешь, поговорю потом. Та-ак... понимаешь... (*Ходит по кабинету.*)

Премьер (*робко*). Да, Егор Егорович, из Манчестера сообщение: наши не вышли в полуфинал...

Президент. Этого и следовало ожидать. Позвони-ка Петровцеву и отчитай, понимаешь, как сидорова козла. Пусть лучше, э-э, в Россию не возвращается. Указ напишу, понимаешь... Тут, понимаешь, миллионы обманутых вкладчиков, а они там, понимаешь!..

Премьер. Еще, Егор Егорович: Витючок ранен. Две пули в голову, теперь в реанимации.

Президент. Ну а это еще, понимаешь, кто такой?

Премьер. Председатель Горкомспорта... то есть Госкомспорта.

Президент. Э-э... И поделом! Поделом, понимаешь! Вот болельщики уже и негодуют. И я на жучка этого указ не напишу, пусть, э-э, не надеется. Да, кстати, (*достает бумажник*), Леша, дружок, сходи, понимаешь, купи шампанского и, э-э, газировки.

Премьер. Буфет-то уже закрыт... придется искать. Как бы Журавлева не проворонить.

Президент. Ну, ты до ближайшего ларька. Тут сразу, э-э, через площадь...

Премьер. А, знаю, знаю! (*Берет деньги.*) Да, Егор Егоровичу, еще. Разведка донесла: Теплицын жжет рукописи... семья плачет...

Президент (*морщась*). Дуракам закон не писан. Ну, пусть жжет... надоел. Беги, Леша, беги! Время, понимаешь, не ждет!

Премьер убегает. Президент наводит на столе порядок, расставляет стулья. Входит **Вадим** с коробкой.

Вадим. Егор Егорыч, вот просили вам передать.

Президент (*тревожно*). Кто?

Вадим. Майор какой-то, из охраны, что ли...

Президент. Ты что! (*Отбегает.*) С ума, понимаешь, сошел! Унеси, э-э, это прочь! Знаешь, что там может быть?!

Вадим. Да ладно, Егор Егорыч, посылка простая. Давайте посмотрим? Я никогда посылки не получал. (*Начинает распаковывать.*) Интересно же...

Президент (*убегает в заднюю комнату*). Не вскрывать!

Вадим вскрывает. Достает бутылку водки и бумажку. Разворачивает, читает.

Вадим. «Дорогой наш президент Егор Егорович! Услышали мы, что наша водочка «Серебро Сибири» пришлась вам по вкусу. Спасибо вам огромное! Еще спасибо за то, что написали указ о приоритете нашей отрасли и освободили от налогов. Теперь, Егор Егорович, мы развернемся! Примите этот скромный подарок – двадцать бутылок нашей новой продукции – водки «Президентская». С уважением, коллектив АО «СибАлко». Постскрипtum первый: Пусть наш напиток поможет вам победить и остаться у руля нашей дорогой и единственной Родины – России! Постскрипtum второй: Разрабатываем рецепт «Президентской особой»!»

Президент (*выглядывая из задней комнаты*). Честно не взрывное устройство?

Вадим. Водка, Егор Егорыч! Опробуем?

Президент (*входит в кабинет*). Сейчас, понимаешь, некогда. Важнейшее госдело мне предстоит – э-э, переговоры. И, кстати, Вадим Эдуардович, попрошу, понимаешь, тебя: поприсутствуй. Возьми вот, э-э, гитару, сядь на диванчик и, как я попрошу, спой песню, э-э, что вчера вот пел...

Вадим. Про координацию политики?

Президент. Нет, а вот, понимаешь, про, понимаешь, российского солдата, ну, у которого автомат, понимаешь...

Вадим. Ладно, спою.

Президент. Вот как я скажу, сразу и пой, то есть, э-э, не сразу, а так, понимаешь, спокойно, ты, дескать, мой гость, человек из народа, из Анжело этого... как его?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.